

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ  
ГЕТЕ



СТРАДАНИЯ  
ЮНОГО  
ВЕРТЕРА





Сочинитель  
Вертера Гете.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



JOHANN VOLFGANG  
GOETHE

DIE LEIDEN  
DES JUNGEN  
WERTHERS



ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ  
ГЕТЕ

СТРАДАНИЯ  
ЮНОГО  
ВЕРТЕРА



Издание подготовил Г. В. Стадников



Санкт-Петербург  
«Наука»  
2001

УДК 82

ББК 84(4)

Г 44



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ  
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*Д. С. Лихачев (почетный председатель), В. Е. Багно,  
Н. И. Балашов (заместитель председателя), В. Э. Вацууро,  
М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, Н. Я. Дьяконова,  
Б. Ф. Егоров (председатель), А. В. Лавров,  
А. Д. Михайлов, И. Г. Птушкина (ученый секретарь),  
И. М. Стеблин-Каменский, С. О. Шмидт*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

**Р. Ю. ДАНИЛЕВСКИЙ**

Без объявления

ISBN 5-02-028431-9

- © Г. В. Стадников, составление, статья, примечания, 1999
- © Российская академия наук и издательство «Наука», серия «Литературные памятники» (разработка, оформление), 1948 (год основания), 1999

© Сканирование и обработка: glarus63



## Страдания юного Вертера

*Я бережно собрал все, что мне удалось разузнать об истории бедного Вертера, и думаю, что Вы будете мне за это признательны. Вы проникнитесь любовью и уважением к его уму и сердцу и прольете слезы над его участью.*

*А ты, бедняга, подпавший тому же искушению, почерпни силы в его страданиях, и пусть эта книжка будет тебе другом, если по воле судьбы или по собственной вине ты не найдешь себе друга более близкого.*

### КНИГА ПЕРВАЯ

*4 мая 1771 г.*

Как я рад, что уехал! Бесценный друг, что такое сердце человеческое? Я так люблю тебя, мы были неразлучны, а теперь расстались, и я радуюсь! Я знаю, ты простишь мне это. Ведь все прочие мои привязанности словно нарочно были созданы для того, чтобы замутить мне душу. Бедняжка Леонора! И все-таки я тут ни при чем! Моя ли вина, что страсть росла в сердце бедной девушки, пока меня развлекали своенравные пре-



лести ее сестрицы! Однако же — совсем ли я тут неповинен? Разве не давал я пищи ее увлечению? Разве не были мне приятны столь искренние выражения чувств, над которыми мы частенько смеялись, хотя ничего смешного в них не было, разве я... Ах, да смеет ли человек судить себя! Но я постараюсь исправиться, обещаю тебе, милый мой друг, что постараюсь и не буду по своему обыкновению терзать себя из-за всякой мелкой неприятности, какую преподносит нам судьба; я буду наслаждаться настоящим, а прошлое пусть остается прошлым. Конечно же, ты прав, мой милый, люди, — кто их знает, почему они так созданы, — люди страдали бы гораздо меньше, если бы не развивали в себе так усердно силу воображения, не припоминали бы без конца прошедшие неприятности, а жили бы безобидным настоящим.

Не откажи в любезности сообщить моей матери, что я добросовестно исполнил ее поручение и вскоре напишу ей об этом. Я побывал у тетки, и она оказалась вовсе не такой мегерой, какой ее у нас изображают. Это жизнерадостная женщина решительного нрава и добрейшей души. Я изложил ей обиды матушки по поводу задержки причитающейся нам доли наследства; тетка привела мне свои основания и доводы и назвала условия, на которых согласна выдать все и даже больше того, на что мы притязаем. Впрочем, я не хочу сейчас распространяться об этом; скажи матушке, что все уладится. Я же, милый мой, лишний

раз убедился на этом пустячном деле, что недомолвки и предубеждения больше вносят в мир смуты, чем коварство и злоба. Во всяком случае, последние встречаются гораздо реже.

А вообще живется мне здесь отлично. Одиночество — превосходное лекарство для моей души в этом райском краю, и юная пора года щедро согревает мое сердце, которому часто бывает холодно в нашем мире. Каждое дерево, каждый куст распускаются пышным цветом, и хочется быть майским жуком, чтобы плавать в море благоуханий и насыщаться ими.

Город сам по себе мало привлекателен, зато природа повсюду вокруг несказанно прекрасна. Это побудило покойного графа фон М. разбить сад на одном из холмов, расположенных в живописном беспорядке и образующих прелестные долины. Сад совсем простой, и с первых же шагов видно, что планировал его не ученый садовод, а человек чувствительный, искавший для себя радостей уединения. Не раз уже оплакивал я усопшего, сидя в обветшалой беседке, — его, а теперь и моем любимом уголке. Скоро я стану полным хозяином этого сада; садовник успел за несколько дней привязаться ко мне, и жалеть ему об этом не придется.

*10 мая.*

Душа моя озарена неземной радостью, как эти чудесные весенние утра, которыми я наслаждаюсь от всего сердца. Я совсем один и блажен-

ствую в здешнем краю, словно созданном для таких, как я. Я так счастлив, мой друг, так упоен ощущением покоя, что искусство мое страдает от этого. Ни одного штриха не мог бы я сделать, а никогда не был таким большим художником, как в эти минуты. Когда от милой моей долины поднимается пар и полдневное солнце стоит над непроницаемой чашей темного леса и лишь редкий луч проскальзывает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, прильнув к земле, вижу тысячи всевозможных былинки и чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками, эти неисчислимы, непостижимы разновидности червяков и мошек, и чувствую близость Всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяние Вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой туманится и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе, точно образ возлюбленной, — тогда, дорогой друг, меня часто томит мысль: «Ах! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, дать отражение моей души, как душа моя — отражение предвечного Бога!» Друг мой... Но нет! Мне не под силу это, меня подавляет величие этих явлений.

*12 мая.*

Не знаю, то ли обманчивые духи населяют эти места, то ли мое собственное пылкое, вдохновенное воображение все кругом превращает в

рай. Сейчас же за городком находится источник, и к этому источнику я прикован волшебными чарами, как Мелузина и ее сестры.\* Спустившись с пригорка, попадаешь прямо к глубокой пещере, куда ведет двадцать ступенек, и там внизу из мраморной скалы бьет прозрачный ключ. Наверху низенькая ограда, замыкающая водоем, кругом роща высоких деревьев, тенистый полумрак — во всем этом есть что-то влекущее и таинственное. Каждый день я просиживаю там не меньше часа. И городские девушки приходят туда за водой — простое и нужное дело, царские дочери не гнушались им в старину.

Сидя там, я живо представляю себе патриархальную жизнь: я словно воочию вижу, как все они, наши праотцы, встречали и сватали себе жен у колодца и как вокруг источников и колодцев витали благодетельные духи.\* Лишь тот не поймет меня, кому не случилось после утомительной прогулки в жаркий летний день насладиться прохладой источника!

*13 мая.*

Ты спрашиваешь, прислать ли мне мои книги? Милый друг, ради Бога, избавь меня от них! Я не хочу больше, чтобы меня направляли, ободряли, воодушевляли; сердце мое достаточно волнуется само по себе; мне нужна колыбельная песня, а такой, как мой Гомер, второй не найти. Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь; недаром ты не встречал ничего переменчи-

вей, непостоянней моего сердца! Милый друг, тебя ли мне убеждать в этом, когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости! Потому-то я и лелею свое бедное сердечко, как больное дитя, ему ни в чем нет отказа. Не разглашай этого! Найдутся люди, которые поставят мне это в укор.

15 мая.

Простые люди нашего городка уже знают и любят меня, в особенности дети. Я сделал печальное открытие. Вначале, когда я подходил к ним и приветливо расспрашивал о том о сем, многие думали, будто я хочу посмеяться над ними, и довольно грубо отмахивались от меня. Но я не унывал, только еще живее чувствовал, как справедливо одно мое наблюдение: люди с определенным весом в обществе всегда будут сторониться простонародья, словно боясь унижить себя близостью к нему; а еще встречаются такие ветреные и злые озорники, которые для вида снисходят до бедного люда, чтобы только сильнее чваниться перед ним.

Я отлично знаю, что мы неравны и не можем быть равными; однако я утверждаю, что тот, кто считает нужным сторониться так называемой черни из страха уронить свое достоинство, заслуживает не меньшей хулы, чем трус, который прячется от врага, боясь потерпеть поражение.

СТРАСТИ  
МОЛОДАГО  
ВЕРТЕРА

ЧАСТЬ I.

переведена съ Нѣмецкаго



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

1781 года.

иждивеніемъ Е. В.

СТРАСТИ  
МОЛОДАГО  
ВЕРТЕРА.

*сочиненія Г. Гетте.*

съ

присовокупленіемъ

ПИСЕМЪ

ШАРЛОТТЫ къ КАРОЛИНѢ

писанныхъ

во время ея знакомства

съ

ВЕРТЕРОМЪ

---

*Вновь переведенныхъ.*

---

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ  
печатано въ Типографіи у. Ф. Мейера,  
1796 года.

*Изданіемъ Т. Полежаева  
Г. Зотова.*

СТРАСТИ  
МОЛОДАГО  
ВЕРТЕРА.

СОЧИНЕНІЯ Г. ГЕТТЕ.

Съ присовокупленіемъ  
ПИСЕМЪ  
ШАРЛОТТЫ КЪ КАРОЛИНѢ  
писанныхъ  
во время ея знакомства  
съ ВЕРТЕРОМЪ.

~~~~~  
Вновь переведенныя.

Изданіе второе.

~~~~~  
МОСКВА  
Въ Университетской Типографіи.

1 8 1 6



Сот. Гете  
СТРАДАНИЯ  
**ВЕРТЕРА.**

СЪ НѢМЕЦКАГО Р... / *Росадинъ,*  
*Ник. Мафъ.*

Часть первая.



МОСКВА.  
ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,  
при Императорской Медико-Хирург. Академіи.

1828.

Недавно пришел я к источнику и увидел, как молоденькая служанка поставила полный кувшин на нижнюю ступеньку, а сама оглядывалась, не идет ли какая-нибудь подружка, чтобы помочь ей поднять кувшин на голову. Я спустился вниз и посмотрел на нее.

— Помочь вам, барышня? — спросил я.

Она вся так и зарделась.

— Что вы, сударь! — возразила она.

— Не церемоньтесь!

Она поправила кружок на голове, и я помог ей. Она поблагодарила и пошла вверх по лестнице.

*17 мая.*

Я завел немало знакомств, но настоящего общества еще не нашел. Сам не понимаю, что во мне привлекательного для людей; очень многим я нравлюсь, многим становлюсь дорог, и мне бывает жалко, когда наши пути расходятся. Если ты спросишь, каковы здесь люди, мне придется ответить: «Как везде!» Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить, а если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Вот оно — назначение человека!

Однако народ здесь очень славный; мне крайне полезно забыться иногда, вместе с другими насладиться радостями, отпущенными людям, просто и чистосердечно пошутить за обильно

установленным столом, кстати устроить катанье, танцы и тому подобное, только не надо при этом вспоминать, что во мне таятся другие, без пользы отмирающие силы, которые я принужден тщательно скрывать. Увы, как больно сжимается от этого сердце! Но что поделаешь! Быть непонятым — наша доля.

Ах, почему не стало подруги моей юности! Почему мне было суждено узнать ее! Я мог бы сказать: «Глупец! Ты стремишься к тому, чего не сыщешь на земле!» Но ведь у меня была же она, ведь чувствовал я, какое у нее сердце, какая большая душа, и с ней я сам казался себе больше, чем был, потому что был всем тем, чем мог быть. Боже правый! Все силы моей души были при этом в действии, и перед ней, перед моей подругой, полностью раскрывал я чудесную способность моего сердца приобщаться природе. Наши встречи порождали непрерывный обмен тончайшими ощущениями, острейшими мыслями, да такими, что любые их оттенки, любые шутки носили печать гениальности. А теперь! Увы, она была старше меня годами и раньше сошла в могилу. Никогда мне не забыть ее, не забыть ее светлого ума и ангельского всепрощения!

На днях я встретился с неким Ф., общительным молодым человеком удивительно приятной наружности. Он только что вышел из университета и хоть не считает себя мудрецом, однако думает, что знает больше других. Правда, по всему видно, что учился он прилежно; так или

иначе, образование у него порядочное. Прослышав, что я много рисую и владею греческим языком (два необычных явления в здешних местах), он отрекомендовался мне и щегольнул множеством познаний от Баттэ до Вуда, от Пиля до Винкельмана и уверил меня, что прочел из Зульцеровой «Теории» всю первую часть до конца и что у него есть рукопись Хайне об изучении античности.\* Я все это принял на веру.

Познакомился я еще с одним превосходным, простым и сердечным человеком, княжеским амтманом. Говорят, душа радуется, когда видишь его вместе с детьми, а у него их девять; особенно превозносят его старшую дочь. Он пригласил меня, и я вскорости побываю у него. Живет он на расстоянии полутора часов отсюда в княжеском охотничьем доме, куда получил разрешение переселиться после смерти жены, потому что ему слишком тяжело было оставаться в городе на казенной квартире.

Кроме того, мне повстречалось еще несколько оригинальничающих глупцов, в которых все невыносимо, а несносней всего их дружеские излияния.

Прощай! Письмо тебе понравится своим чисто повествовательным характером.

22 мая.

Многим казалось, что человеческая жизнь — только сон, меня тоже не покидает это чувство.\* Я теряю дар речи, Вильгельм,\* когда наблюдаю,

какими тесными пределами ограничены творческие и познавательные силы человека, когда вижу, что всякая деятельность сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь имеющих одну только цель — продлить наше жалкое существование, а успокоенность в иных научных вопросах — всего лишь бессильное смирение фантазеров, которые расписывают стены своей темницы яркими, пестрыми фигурами и заманчивыми видами. Я ухожу в себя и открываю целый мир! Но тоже скорее в предчувствиях и смутных вожделениях, чем в живых, полнокровных образах. И все тогда мутится перед моим взором, и я живу, точно во сне улыбаясь миру.

Все ученейшие школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не знают, почему они хотят чего-то, но что взрослые не лучше детей ощупью бродят по земле и тоже не знают, откуда пришли и куда идут, точно так же не видят в своих поступках определенной цели, и что ими так же управляют при помощи печенья, пирожного и розог, — с этим никто не хочет согласиться, а, на мой взгляд, это вполне очевидно.

Спешу признаться тебе, помня твои взгляды, что почитаю счастливыми тех, кто живет не задумываясь, подобно детям, нянчиться со своей куклой, одевает и раздевает ее и умильно ходит вокруг шкафа, куда мама заперла пирожное, а когда доберется до сладенького, то уплетает его за обе щеки и кричит: «Еще!» Счастливые создания! Хорошо живется и тем, кто дает пышные

названия своим ничтожным занятиям и даже своим страстишкам и преподносит их роду человеческому как грандиозные подвиги во имя его пользы и процветания.

Благо тому, кто может быть таким! Но если кто в смирении своем понимает, к чему все это ведет, кто видит, как прилежно всякий благополучный мещанин подстригает свой садик под рай и как терпеливо даже несчастливец, сгибаясь под бременем, плетется своим путем и все одинаково жаждут хоть на минуту дольше видеть свет нашего солнца, — кто все это понимает, тот молчит и строит свой мир в самом себе и счастлив уже потому, что он человек. И еще потому, что при всей своей беспомощности в душе он хранит сладостное чувство свободы и сознание, что может вырваться из этой темницы, когда пожелает.

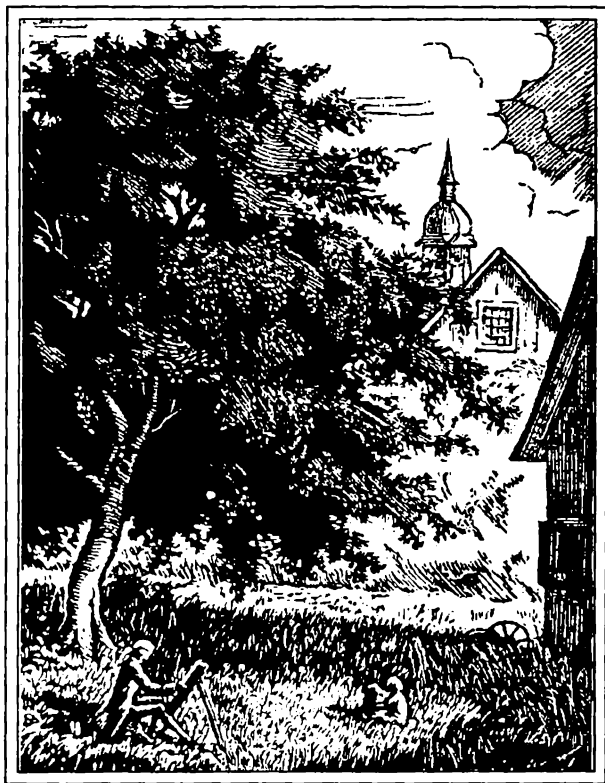
26 мая.

Ты издавна знаешь мою привычку прижиться где-нибудь, находить себе приют в укромном уголке и располагаться там, довольствуясь малым. Я и здесь облюбывал себе такое местечко.

Приблизительно в часе пути от города находится деревушка, называемая Вальхейм.<sup>1</sup> Она очень живописно раскинулась по склону холма, и, когда идешь к деревне поверху пешеходной тро-

---

<sup>1</sup> Пусть читатель не трудится отыскивать названные здесь места; нам пришлось изменить стоявшие в оригинале подлинные названия. (Примеч. автора).



Публикуется по изданию: Гете И. В. Страдания юного Вертера. М.: Гос. изд-во Детской литературы Мин-ва просвещения РСФСР. 1963.

пой, перед глазами открывается вид на всю долину. Старуха, хозяйка харчевни, услужливая и расторопная несмотря на возраст, подает вино, пиво, кофе; а что приятнее всего — две липы своими раскидистыми ветвями целиком укрывают небольшую церковную площадь, окруженную со всех сторон крестьянскими домишками, овинами и дворами. Уютнее, укромнее я редко встречал местечко; мне выносят столик и стул из харчевни, и я посиживаю там, попиваю кофе и читаю Гомера.

В первый раз, когда я в ясный полдень случайно очутился под липами, площадь была совсем пустынна. Все работали в поле, только мальчуган лет четырех сидел на земле и обеими ручонками прижимал к груди другого, полугодовалого ребенка, сидевшего у него на коленях, так что старший как будто служил малышу креслом, и, хотя черные глазенки его очень задорно поблескивали по сторонам, сидел он не шевелясь.

Меня позабавило это зрелище: я уселся на плуг напротив них и с величайшим удовольствием запечатлел эту трогательную сценку. Пририсовал еще ближний плетень, ворота сарая, несколько сломанных колес, все, как оно было расположено на самом деле, и, проработав час, увидел, что у меня получился стройный и очень интересный рисунок, к которому я не добавил от себя ровно ничего. Это укрепило меня в намерении впредь ни в чем не отступать от природы. Она одна неисчерпаемо богата, она одна создает большого



художника. Много можно сказать в пользу установленных правил, примерно то же, что говорят в похвалу общественному порядку. Человек, воспитанный на правилах, никогда не создаст ничего безвкусного и негодного, как человек, следующий законам и порядкам общежития, никогда не будет несносным соседом или отпетым злодеем. Зато, что бы мне ни говорили, всякие правила убивают ощущение природы и способность правдиво изображать ее! Допустим, ты возразишь: «Это слишком резко! Строгие правила только обуздывают, подрезают буйные побеги и т. д.».

Привести тебе сравнение, дорогой друг? Тут дело обстоит так же, как с любовью. Представь себе юношу, который всем сердцем привязан к девушке, проводит подле нее целые дни, растрчивает все силы, все состояние, чтобы каждый миг доказывать ей, как он беззаветно ей предан. И вдруг является некий филистер, чиновник, занимающий видную должность, и говорит влюбленному: «Милый юноша! Любить свойственно человеку; но надо любить по-человечески! Умейте распределять свое время: положенные часы посвящайте работе, а часы досуга — любимой девушке. Сосчитайте свое состояние, и на то, что останется от насущных нужд, вам не возбраняется делать ей подарки, только не часто, а так, скажем, к рождению, к именинам и т. д.». Если юноша послушается, из него выйдет дельный молодой человек, и я первый порекомендую всякому государю назначить его в коллегия, но

тогда любви его придет конец, а если он художник, то конец и его искусству. Друзья мои! Почему так редко бьет ключ гениальности, так редко разливается полноводным потоком, потрясая ваши смущенные души? Милые мои друзья, да потому, что по обоим берегам проживают рассудительные господа, чьи беседки, огороды и клумбы с тюльпанами смыло бы без следа, а посему они ухитряются заблаговременно предотвращать опасность с помощью отводных каналов и запруд.

27 мая.

Я вижу, что увлекся сравнениями, ударился в декламацию и забыл тебе досказать, что случилось дальше с ребятишками. Часа два просидел я на плуге, погрузившись в творческие переживания, весьма бессвязно изложенные во вчерашнем моем письме. Вдруг в сумерки появляется молодая женщина с корзинкой на руке, спешит к детям, которые за все время не шелохнулись, и уже издали кричит: «Молодец Филипс!» Мне она пожелала доброго вечера, я поблагодарил, поднялся, подошел ближе и спросил, ее ли это дети. Она ответила утвердительно, дала старшему кусок сдобной булки, а малыша взяла на руки и расцеловала с материнской нежностью. «Я велела Филипсу подержать малыша, а сама пошла со старшим в город купить белого хлеба, сахара и глиняную миску для каши. (Все это виднелось в корзинке, с которой упала крышка.) Мне надо сварить Гансу (так звали маленького) супчик на

ужин; а старший мой, баловник, поспорил вчера с Филипсом из-за поскребышков каши и разбил миску». Я спросил, где же старший, и не успела она ответить, что он гоняет на лугу гусей, как он прибежал вприпрыжку и принес брату ореховый прутик. Я продолжал расспрашивать женщину и узнал, что она дочь учителя и что муж ее отправился в Швейцарию получать наследство после умершего родственника. «Его хотели обойти, — пояснила она, — даже на письма ему не отвечали, так уж он поехал сам. Только бы с ним не приключилось беды! Что-то ничего о нем не слышно». Я едва отделался от нее, дал каждому из мальчуганов по крейцеру, еще один крейцер дал матери, чтобы она принесла из города маленькому булку и супу, и на этом мы расстались.

Верь мне, бесценный друг, когда чувства мои рвутся наружу, лучше всего смиряет их волнение пример такого существа, которое покорно плетется по тесному кругу своего бытия, перебивается со дня на день, смотрит, как падают листья, и видит в этом только одно — что наступает зима.

С того дня я стал часто бывать в деревушке. Дети совсем ко мне привыкли; когда я пью кофе, им достается сахар, за ужином я уделяю им хлеба с маслом и простокваши. В воскресенье они обязательно получают по крейцеру, а если меня нет после обедни, хозяйке харчевни раз навсегда приказано давать им монетки. Дети доверчиво рассказывают мне всякую всячину. Особенно же забавляет меня в них игра страстей, простодуш-

ная настойчивость желаний, когда к ним присоединяются другие деревенские ребяташки. Немало труда стоило мне убедить их мать, что они не беспокоят меня.

30 мая.

Все, что я недавно говорил о живописи, можно, без сомнения, отнести и к поэзии; тут важно познать совершенное и найти в себе смелость выразить его словами — этим немногим сказано многое. Сегодня я наблюдал сцену, которую достаточно просто описать, чтобы получилась чудеснейшая в мире идиллия.

Ах, при чем тут поэзия, сцена, идиллия? Неужели нельзя без ярлыков приобщиться к явлению природы?

Если ты после такого предисловия ждешь чего-то возвышенного, изысканного, то опять жестоко обманешься: такое сильное впечатление произвел на меня всего лишь крестьянский парень. Я, как всегда, буду плохо рассказывать, а ты, как всегда, найдешь, что я увлекаюсь. Родина этих чудес — снова Вальхейм, все тот же Вальхейм.

Целое общество собралось пить кофе под липами. Мне оно было не по душе, и я не присоединился к нему, выставив благовидный предлог. Крестьянский парень вышел из ближнего дома и стал починять тот самый плуг, который я рисовал на днях. Юноша понравился мне с виду, и я заговорил с ним, расспросил об его

жизни; вскоре мы познакомились и, как всегда выходит у меня с такого рода людьми, даже подружился. Он рассказал мне, что служит в работниках у одной вдовы и она очень хорошо с ним обращается. Он так много говорил о ней и до того ее расхваливал, что я сразу понял — он предан ей телом и душой. По его словам, она женщина уже немолодая, первый муж дурно обращался с ней, и она не хочет больше выходить замуж; из рассказа его совершенно ясно было, что краше ее, милее для него нет никого на свете, что он только и мечтает стать ее избранником и заставить ее позабыть провинности первого мужа, но мне пришлось бы повторять все слово в слово, чтобы дать тебе представление о чистоте чувства, о любви и преданности этого человека. Мало того, мне нужен был бы дар величайшего поэта, чтобы охватить и выразительность его жестов, и звучность голоса, и затаенный огонь во взорах. Нет, никакими словами не описать той нежности, которую выражало все его существо; что бы я ни сказал, все выйдет грубо и нескладно. Особенно умилила меня в нем боязнь, что я неверно истолкую их отношения и усомнюсь в ее благонаравии. Только в тайниках своей души могу я вновь прочувствовать, как трогательно он говорил о ее осанке, о ее теле, лишенном юной прелести, но властно влекущем и пленительном для него. В жизни своей не видел я, да и вообще не воображал себе неотступного желанья, пламенного страстного влечения в такой нетронутой чистоте.

Не сердись, если я признаюсь тебе, что воспоминание о такой искренности и чистоте чувств потрясает меня до глубины души и образ этой верной и нежной любви повсюду преследует меня, и сам я словно воспламенен ею, томлюсь и горю.

Постараюсь поскорей увидеть эту женщину, впрочем, если подумать, пожалуй, лучше избежать этого. Лучше видеть ее глазами влюбленного; быть может, собственным моим глазам она предстанет совсем иной, чем рисуется мне сейчас, а зачем портить прекрасное видение?

16 июня.

Почему я не пишу тебе, спрашиваешь ты, а еще слывешь ученым. Мог бы сам догадаться, что я вполне здоров и даже... словом, я свел знакомство, которое живо затронуло мое сердце... Боюсь сказать, но, кажется, я...

Не знаю, удастся ли мне рассказать по порядку, каким образом я познакомился с одним из прелестнейших в мире созданий. Я счастлив и доволен, а значит, не гожусь в трезвые повествователи.

Это ангел! Фи, что я! Так каждый говорит про свою милую. И все же я не в состоянии выразить, какое она совершенство и в чем ее совершенство; короче говоря, она полонила мою душу.

Какое сочетание простосердечия и ума, доброты и твердости, душевного спокойствия и живости деятельной природы! Все эти слова только

пошлый вздор, пустая отвлеченная болтовня, не отражающая ни единой черточки ее существа. В другой раз — нет, не в другой, а сейчас, сию минуту расскажу я тебе все! Если не сейчас, я не соберусь никогда. Между нами говоря, у меня уже три раза было поползновение отложить перо, оседлать лошадь и поехать туда. Я с утра дал себе слово остаться дома, а сам каждую минуту подхожу к окну и смотрю, долго ли до вечера.

Я не мог совладать с собой, не удержался и поехал к ней. Теперь я возвратился, буду ужинать хлебом с маслом и писать тебе, Вильгельм. Что за наслаждение для меня видеть ее в кругу восьмерых милых резвых ребятишек, ее братьев и сестер!

Если я буду продолжать в том же роде, ты до конца не поймешь ничего. Слушай же! Сделаю над собой усилие и расскажу все в мельчайших подробностях.

Я писал тебе недавно, что познакомился с амтманом С. и он пригласил меня посетить его уединенную обитель или, вернее, его маленькое царство. Я пренебрег этим приглашением и, вероятно, так и не побывал бы у него, если бы случайно не обнаружил сокровища, спрятанного в этом укромном уголке.

Наша молодежь надумала устроить загородный бал, и я охотно принял участие в этой затее. Я предложил себя в кавалеры одной славной, миловидной, но, впрочем, бесцветной девушке, и было решено, что я заеду в карете за моей дамой

и ее кузиной; по дороге мы захватим Шарлотту С. и вместе отправимся на праздник. «Сейчас вы увидите красавицу», — сказала моя спутница, когда мы широкой лесной просекой подъезжали к охотничьему дому. «Только смотрите не влюбитесь!» — подхватила кузина. «А почему?» — спросил я. «Она уже просватана за очень хорошего человека, — отвечала та, — он сейчас в отсутствии, поехал приводить в порядок свои дела после смерти отца и устраиваться на солидную должность». Эти сведения произвели на меня мало впечатления.

Солнце еще не скрылось за горной грядой, когда мы подъехали к воротам. Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались йссера-белые, пухлые облака. Я успокоил их страх мнимонаучными доводами, хотя и сам начал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи.

Я вышел из кареты, и служанка, отворившая ворота, попросила обождать минутку; мамзель Лотхен сейчас будет готова. Я прошел по двору к основательно построенному дому, поднялся на крыльцо, и, когда переступил порог двери, передо мной предстало самое прелестное зрелище, какое мне случалось видеть.

В прихожей шестеро детей от одиннадцати до двух лет окружали стройную, среднего роста девушку в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала в



руках каравай черного хлеба, отрезала окружившим ее малышам по куску, сообразно их годам и аппетиту, и ласково оделяла каждого, и каждый протягивал ручонку и выкрикивал «спасибо» задолго до того, как хлеб был отрезан, а потом одни весело, вприпрыжку убегали со своим ужином, другие же, те, что посмирнее, тихонько шли к воротам посмотреть на чужих людей и на карету, в которой уедет их Лотта. «Простите, что я затруднила вас и заставила дам дожидаться, — сказала она. — Я занялась одеванием и распоряжениями по дому на время моего отсутствия и забыла накормить детишек, а они желают получить ужин только из моих рук». Я пробормотал какую-то банальную любезность, а сам от всей души восхищался ее обликом, голосом, движениями и едва успел оправиться от неожиданности, как она убежала в соседнюю комнату за перчатками и веером. Дети держались в сторонке и искоса поглядывали на меня, тогда я решительно направился к младшему, прехорошенькому малышу. Только он собрался отстраниться, как вошла Лотта и сказала: «Луи, дай дяде ручку!» Мальчуган сейчас же послушался, а я не мог удержаться и расцеловал его, несмотря на сопливый носик. «Дяде? — спросил я, подавая ей руку. — Вы считаете меня достойным быть вам родней?» — «Ну, у нас родство обширное, — возразила она с игривой улыбкой, — неужели ж вы окажетесь хуже других?» По дороге она поручила сестренке Софи, девочке лет одиннадцати, хорошенько надзирать за деть-

ми и поклониться папе, когда он вернется домой с прогулки верхом. Малышам она наказала слушать сетрицу Софи, все равно как ее самое, что почти все они твердо обещали. Только одна белокурая вострушка лет шести возразила: «Нет, это не все равно, Лотхен, тебя мы любим больше!»

Двое старших мальчиков взобрались на козлы, и по моей просьбе она разрешила им прокатиться до леса, если они пообещают крепко держаться и не ссориться между собой.

Не успели мы рассесться, не успели дамы поздороваться, оценить наряды, а главное шляпки друг друга и разобрать по косточкам всех приглашенных, как Лотта велела кучеру остановиться и заставила братьев слезть с козел, причем оба они пожелали на прощание поцеловать ей руку, что старший проделал со всей нежностью пятнадцатилетнего юноши, а младший — с большой живостью и горячностью. Она еще раз передала поклон малышам, и мы поехали дальше.

Кузина спросила, прочла ли Лотта книгу, которую она на днях послала ей. «Нет! — отвечала Лотта. — Она мне не понравилась, возьмите ее назад. И прежняя была не лучше». Спросив, что это за книги, я поразился ее ответу.<sup>1</sup> Во всех ее суждениях чувствовалась полная само-

---

<sup>1</sup> Мы вынуждены опустить это место в письме, чтобы не давать повода к малейшей обиде, хотя в сущности какого писателя может тронуть суждение первой встречной девушки и несложившегося молодого человека? (Примеч. автора).

бытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице, оно становилось все одухотвореннее и все более прояснялось, потому что она видела, как хорошо я понимаю ее.

«Когда я была помоложе, мне больше всего нравились романы, — говорила она. — Одному Богу известно, как приятно бывало мне усесться в воскресенье в уголок и всем сердцем переживать радости и невзгоды какой-нибудь мисс Дженни.\* Не буду отрицать, и сейчас еще такого рода чтение не утратило для меня привлекательности. Однако я редко могу взяться за книгу, а потому она должна быть мне особенно по вкусу. И мне милее всего тот писатель, у которого я нахожу мой мир, у кого в книге происходит то же, что и вокруг меня, и чей рассказ занимает и трогает меня, как моя собственная домашняя жизнь. Пусть это далеко не райская жизнь, но в ней для меня источник несказанных радостей».

Я постарался скрыть волнение, вызванное этими словами. Правда, надолго моего благоразумия не хватило: когда Лотта мимоходом обронила меткие замечания о «Векфильдском священнике»<sup>1\*</sup>... о... я не выдержал и высказал ей все, что думал, и лишь после того, как Лотта вовлекла

---

<sup>1</sup> «Векфильдский священник» — роман английского писателя Оливера Гольдсмита (1729—1774).

Здесь также пропущены имена некоторых отечественных писателей. Тот, кого Лотта похвалила, несомненно, угадает это чутьем, прочитав настоящее место в книге, а другим нет нужды знать об этом. (Примеч. автора).

в разговор наших спутниц, заметил, что те все время сидели с отсутствующим видом. Кузина не раз посматривала на меня, насмешливо наморщив носик, но мне это было безразлично.

Речь зашла о любви к танцам. «Пусть эта страсть порочна, — сказала Лотта, — сознаюсь вам, что ставлю танцы выше всего. И стоит мне, когда я чем-нибудь озабочена, побренчать на моем расстроенном фортепьяно контрданс, как все мигом проходит».

Как любовался я во время разговора ее черными глазами! Как тянулся душой к выразительным губам, к свежим цветущим щекам, как, проникаясь смыслом ее речей, я порою не слышал самых слов — все это, зная меня, ты легко себе представишь. Короче говоря, когда мы подъехали к бальному павильону, я вышел из кареты, точно во сне, и так замечтался, убаюканный вечерним сумраком, что не слышал музыки, гремевшей нам навстречу сверху из освещенной залы.

Кавалеры кузины и Лотты — Одран и некий N. N. — разве упомнишь все имена! — встретили нас у кареты и подхватили своих дам, я тоже повел свою наверх.

Мы переплетались в менюэтах, я приглашал одну даму за другой, и, как назло, самые несносные всё медлили поблагодарить и отпустить меня. Лотта и ее кавалер начали танцевать англес, и ты сам поймешь, как было мне приятно, когда ей пришлось проделывать фигуру с нами! Надо только посмотреть, как она танцует! Видишь ли,

она всем сердцем, всей душой отдается танцу, все движения ее так гармоничны, так беспечны, так непринужденны, как будто в этом для нее все, как будто она больше ни о чем не думает, ничего не чувствует, и, конечно же, в те минуты все остальное не существует для нее.

Я попросил у нее второй контрданс; она обещала мне третий и с очаровательной откровенностью призналась, что до страсти любит танцевать немецкий вальс. «Тут у нас принято, — продолжала она, — чтобы дама танцевала вальс со своим постоянным кавалером. Но мой кавалер прескверно вальсирует и будет мне признателен, если я избавлю его от этого труда. Ваша дама тоже не охотница и не мастерица танцевать вальс, а я заметила еще в англесе, что вы вальсируете превосходно. Так вот, если вам хочется танцевать со мной, ступайте попросите разрешения у моего кавалера, а я пойду к вашей даме». Я согласился, и мы решили, что ее танцор будет между тем занимать мою танцорку.

Танец начался, и мы некоторое время с увлечением выделяли разнообразные фигуры. Как изящно, как легко скользила она! Когда же все пары закружились в вальсе, поднялась суতোлка, потому что мало кто умеет вальсировать. Мы благоразумно подождали, чтобы наплясались остальные, и когда самые неумелые очистили место, вступили мы еще с одной парой, с Одраном и его дамой, и не посрамили себя. Никогда еще не двигался я так свободно. Я не

чувствовал собственного тела. Подумай, Вильгельм, — держать в своих объятиях прелестнейшую девушку, точно вихрь носиться с ней, ничего не видя вокруг и... Однако сознаюсь тебе, я поклялся мысленно, что никогда, ни за какие блага в мире не позволил бы своей любимой, своей невесте, вальсировать с другим мужчиной. Ты меня, конечно, поймешь!

Мы несколько раз прошлись по зале, чтобы отдышаться. Потом она села, и апельсины, с трудом добытые мною, превосходно освежили нас, только каждый ломтик, который она из вежливости уделяла беззастенчивой соседке, был мне словно острый нож в сердце.

Третий англез мы танцевали во второй паре. Когда мы проходили в танце по ряду и я с неизъяснимым упоением держал ее руку, смотрел в ее глаза, откровенно выражавшие искреннейшее, чистейшее удовольствие, мы поравнялись с женщиной, которая раньше еще привлекала мое внимание приятным выражением немолодого лица. Она с улыбкой поглядела на Лотту, погрозила пальцем и дважды на лету многозначительно произнесла имя Альберта.

«Разрешите узнать, кто такой Альберт?» — спросил я Лотту.

Только она собралась ответить, как нам пришлось разлучиться, чтобы проделать длинную восьмую фигуру, а когда мы снова встретились в танце, мне показалось, что лицо у нее стало задумчивым.

«Зачем таиться перед вами? — сказала она, подавая мне руку для променада. — Альберт — хороший человек, с которым я почти что помолвлена». Это известие не было для меня ново (ведь барышни рассказали мне об этом по дороге), но тут оно прозвучало для меня совсем по-новому, потому что я связал его с ней, а она за короткий миг стала мне так дорога. Словом, я смутился, растерялся и перепутал пары, так что все смешалось, и только благодаря находчивости Лотты, ее стараниям и усилиям порядок был восстановлен.

Танец еще не кончился, как молнии, которые давно уж поблескивали на горизонте и которые я упорно называл зарницами, теперь засверкали сильнее, и гром стал заглушать музыку. Три дамы выбежали из цепи танцующих, их кавалеры последовали за ними; все окончательно расстроилось, и музыка смолкла. Когда несчастье или потрясение настигают нас посреди удовольствия, вполне естественно, что они действуют сильнее, отчасти в силу противоположности, но еще больше потому, что чувства наши при этом особенно обострены и, значит, мы скорее поддаемся впечатлениям. Лишь такой причине могу я приписать нелепые выходки многих женщин. Самая благо-разумная уселась в угол спиной к окну и заткнула уши; другая стала перед ней на колени и зарылась головой в платье; третья втиснулась между ними и, заливаясь слезами, прижимала к себе своих сестриц. Одни рвались домой; другие совсем не

помнили себя, у них не хватало самообладания обуздать дерзость наших юных шалунов, усердно старавшихся перехватить с губ прекрасных страдалиц жалобные мольбы, обращенные к небесам.

Некоторые из мужчин отправились вниз выкурить без помехи трубочку, прочие же гости воспользовались счастливой мыслью хозяйки перейти в комнату, где имелись ставни и занавески.

Не успели мы собраться там, как Лотта принялась расставлять стулья в круг и, усадив все общество, предложила затеять игру.

Я видел, как многие уже облизывались и потягивались, предвкушая пикантный фант. «Мы будем играть в счет, — объявила Лотта. — Внимание! Я пойду по кругу справа налево, а вы считайте за мной; каждый должен называть то число, которое придется на него, и так до тысячи, только живо, без задержки, а кто запнется или ошибется — получит пощечину». Зрелище было превеселое. Она пошла по кругу с поднятой рукой. Первый сказал «раз», сосед его — «два», следующий — «три» и так далее. Потом она зашагала быстрее, все быстрее; один ошибся — бац! — пощечина, от смеха спутался другой, опять — бац! — а она шла все быстрее. Я сам получил две оплеухи и с тайной радостью отметил, что они были явно увесистее тех, что доставались другим. Игра закончилась всеобщим смехом и гамом, не дойдя до тысячи.



Общество разбилось на группы, гроза миновала, и я последовал за Лоттой в залу. По пути она заметила: «Пощечины заставили их забыть и погоду, и все на свете!» Я не нашелся, что сказать на это. «Я первая струсила, — продолжала она, — но старалась бодриться, чтобы придать храбрости другим, и сама расхрабрилась».

Мы подошли к окну. Где-то в стороне еще громыхало, благодатный дождь струился на землю, и теплый воздух, насыщенный живительным ароматом, поднимался к нам. Она стояла, облокотясь на подоконник, и вглядывалась в окрестность; потом посмотрела на небо, на меня; я увидел, что глаза ее подернулись слезами: она положила руку на мою и произнесла: «Клопшток!» Я сразу же вспомнил великолепную оду, пришедшую ей на ум, и погрузился в поток ощущений, которые она пробудила своим возгласом. Я не выдержал, я склонился с блаженными слезами и поцеловал ее руку. А потом снова взглянул ей в глаза. Мудрец! Дай Бог тебе увидеть благоговейный восторг в этих глазах, а мне никогда не слышать твоего имени из кощунственных уст!

*19 июня.*

Не помню, на чем я остановился в прошлый раз. Одно помню, что до постели я добрался в два часа ночи и что если бы я мог болтать с тобой, а не писать, то продержал бы тебя, должно быть, до самого утра.

Я не рассказывал еще, что произошло на обратном пути с бала, а сегодня у меня опять мало времени.

Что это был за великолепный восход солнца! Вокруг окропленный дождем лес и освеженные поля! Наши спутницы задремали. Она спросила, не хочется ли мне последовать их примеру, я могу не стесняться ее присутствием. «Пока передо мной сияют эти глаза, — сказал я, смело глядя на нее, — мне сон не угрожает». Оба мы бодрствовали до самых ее ворот, когда служанка потихоньку отворила ей и на ее расспросы ответила, что все благополучно, а отец и малыши еще спят. На этом я расстался с ней, попросив разрешения навестить ее в тот же день. Она разрешила, и я приехал, и с тех пор солнце, месяц и звезды могут преспокойно совершать свой путь, я не знаю, где ночь, где день, я не вижу ничего кругом.

21 июня.

Я переживаю такие счастливые дни, какие Господь приберегает для своих святых угодников, и что бы со мной ни случилось, я не посмею сказать, что не познал радостей, чистейших радостей жизни.

Ты представляешь себе мой Вальхейм: там я прочно обосновался, оттуда мне полчаса пути до Лотты, а подле нее я становлюсь сам собой и ощущаю все счастье, доступное человеку.

Думал ли я, избирая Вальхейм целью своих прогулок, что он расположен так близко к небе-

сам! Как часто во время дальних странствий видел я охотничий дом, средоточие всех моих желаний, то с холма, то с равнины над рекой!

Милый Вильгельм, я не раз задумывался над тем, как сильна в человеке жажда бродяжничать, делать новые открытия, как его манят просторы, но наряду с этим в нас живет внутренняя тяга к добровольному ограничению, мы предпочитаем катиться по привычной колее, не оглядываясь по сторонам.

Поразительно, право! Когда я приехал сюда и с пригорка оглядывал долину, — до чего же все вокруг притягивало меня. Вон тот лесок: хорошо бы нырнуть в его тень! И вершина вон той горы: хорошо бы оттуда обозреть всю окрестность! И примыкающие друг к другу холмы и уютные долины: хорошо бы углубиться в них! Я бежал туда и возвращался, не найдя того, на что надеялся. Будущее — та же даль! Необъятная туманность простерта перед нашей душой; ощущения наши теряются в ней, как и взгляды, и ах! как же мы жаждем отдать себя целиком, проникнуться блаженством единого, великого, прекрасного чувства. Но, увы, когда мы достигаем цели, когда «там» становится «тут», все оказывается таким же, как прежде, и мы снова сознаем свое убожество, свою ограниченность, и душа наша томится по ускользнувшей усладе.

Так неугомоннейший бродяга под конец стремится назад, в отчизну, и в своей лачуге, на груди жены, в кругу детей, в заботах об их пропитании

находит блаженство, которого тщетно искал по всему свету.

Когда я утром, на заре, отправляюсь в Вальхейм и там, в огороде при харчевне, сам рву для себя сахарный горошек, сажусь, чищу его и попутно читаю Гомера; когда я выбираю на кухне горшок, кладу в него масла, ставлю стручки на огонь, накрыв крышкой, и подсаживаюсь, чтобы время от времени помешивать их, тогда я очень живо воображаю, как дерзкие женихи Пенелопы\* убивали, свежевали и жарили быков и свиней. Ничто не дает мне такого тихого и непритворного удовлетворения, как возможность без натяжки перенести черты патриархального быта в мое собственное повседневное существование.

Как отрадно мне всем сердцем ощущать бесхитростную, безмятежную радость человека, который кладет себе на стол своими руками возвращенный кочан капусты и в одно мгновение переживает вновь все хорошее, что связано с ним: ясное утро, когда он сажал его, и теплые вечера, когда его поливал и радовался, глядя, как он растет.

29 июня.

Позавчера сюда из города приезжал лекарь и застал меня на полу среди ребятишек Лотты; одни карабкались по мне, другие меня тормошили, а я их щекотал, и мы дружно кричали во весь голос. Доктор, ученый паяц, который во время разговора непрерывно теребит складки своих манжет и вытягивает свое нескончаемое жабо,

счел такое поведение недостойным рассудительного человека; это было у него на носу написано. Однако я нимало не смутился, слушал его мудрейшие разглагольствования, а сам наново строил детям карточные домики, которые они успели разрушить. После этого он ходил по городу и возмущался: дети амтмана и так, мол, невоспитаны, а Вертер окончательно разбаловал их.

Да, милый Вильгельм, дети ближе всего моей душе. Наблюдая их, находя в малыше зачатки всех добродетелей, всех сил, какие со временем так понадобятся ему; видя в упрямстве будущую стойкость и твердость характера, в шаловливости — веселый нрав и способность легко скользить над житейскими грозами, и все это в такой целостности и чистоте! — я не устаю повторять золотые слова Учителя: «Если не обратитесь и не будете как дети!»\*

И вот, друг мой, хотя они равны нам, хотя они должны служить нам примером, мы обращаемся с ними, как с подчиненными. У них не должно быть своей воли! Но ведь у нас-то есть своя воля! Откуда же такая привилегия? Оттого, что мы старше и разумнее! Боже правый, ты с небес видишь только старых детей да малых детей; а Сын твой давно уже возвестил, от которых из них тебе больше радости. Они же веруют в него и не слышат его (это тоже не ново) и детей воспитывают по своему образу и... прощай, Вильгельм! Довольно пустословить на эту тему.

1 июля.

Чем может быть Лотта для больного — это я чувствую на своем собственном злосчастном сердце, а ему хуже приходится, нежели любому страдальцу, изнывающему на одре болезни. Она пробудет несколько дней в городе у одной почтенной женщины, которая, по мнению врачей, безнадежна и в последние минуты хочет видеть подле себя Лотту. На прошлой неделе мы ездили с Лоттой навестить пастора в Ш., местечке, лежащем в стороне, в горах. Туда час пути, и добрались мы около четырех часов. Лотта взяла с собой младшую сестру. Когда мы вошли во двор пастората, осененный двумя высокими ореховыми деревьями, славный старик сидел на скамейке у входа и, едва завидев Лотту, явно оживился, позабыл свою суковатую палку и поднялся навстречу гостье. Она подбежала к нему, усадила его на место, села сама рядом, передала низкий поклон от отца, приласкала меньшого, противного чумазого сынишку пастора, усладу его старости. Посмотрел бы ты, как она занимала старика, как старалась говорить погромче, потому что он туг на ухо, как рассказывала о молодых и крепких людях, умерших невзначай, и о пользе Карлсбада,\* как одобряла его решение побывать там будущим летом, как уверяла, что он на вид много здоровее, много бодрее, чем в последний раз, когда она видела его. Я тем временем успел откомендоваться пасторше. Старик совсем повесе-

лел, и так как я не преминул восхититься красотой ореховых деревьев, дающих нам такую приятную тень, он, хоть и не без труда, принялся рассказывать их историю. «Кем посажено старое, мы толком не знаем, — сказал он. — Кто говорит — одним, кто — другим священником, а вон тому молодому дереву ровно столько лет, сколько моей жене, в октябре стукнет пятьдесят. Отец ее посадил деревцо утром, а в тот же день под вечер она родилась. Он был моим предшественником в должности, и до чего ему было любо это дерево, даже не выразишь словами, да и мне, конечно, не меньше. Жена моя сидела под ним на бревне и вязала, когда я двадцать семь лет тому назад бедным студентом впервые вошел сюда во двор». Лотта осведомилась о его дочери: оказалось, она пошла на луг к батракам с господином Шмидтом, старик же продолжал вспоминать, как полюбил его старый священник, а за ним и дочь, и как он стал сперва его викарием, а потом преемником.

Рассказ близился к концу, когда из сада появилась пасторская дочка вместе с вышеназванным господином Шмидтом. Она с искренним радушием приветствовала Лотту, и, должен признаться, мне она понравилась. С такой живой и статной брюнеткой неплохо скоротать время в деревне. Ее поклонник (ибо роль господина Шмидта сразу же определилась), благовоспитанный, но неразговорчивый человек, все время по-

малкивал, как Лотта ни втягивала его в беседу. Особенно было мне неприятно, что судя по выражению лица необщительность его объяснялась скорее упрямством и дурным характером, нежели ограниченностью ума. В дальнейшем это, к сожалению, вполне подтвердилось. Когда Фредерика\* во время прогулки пошла рядом с Лоттой, а следовательно, и со мной, лицо ее вздыхателя, и без того смуглое, столь явно помрачнело, что Лотта как раз вовремя дернула меня за рукав и дала мне понять, что я чересчур любезен с Фредерикой. А мне всегда до крайности обидно, если люди докучают друг другу, тем более если молодежь во цвете лет, вместо того чтобы быть восприимчивой ко всяческим радостям, из-за пустяков портит друг другу недолгие светлые дни и слишком поздно понимает, что растраченного не возместишь. Это мучило меня, и, когда мы в сумерках вернулись на пасторский двор и, усевшись за стол пить молоко, завели разговор о горестях и радостях жизни, я воспользовался предлогом и произнес горячую речь против дурного расположения духа.

«Люди часто жалуются, что счастливых дней выпадает мало, а тяжелых много, — так начал я, — но, по-моему, это неверно. Если бы мы с открытым сердцем шли навстречу тому хорошему, что уготовано нам Господом Богом на каждый день, у нас хватило бы сил снести и беду, когда она приключится».



«Но мы не властны над своими чувствами, — возразила пасторша, — немалую роль играет и тело! Когда человеку неможется, ему всюду не по себе». В этом я согласился с ней. «Значит, надо считать это болезнью, — продолжал я, — и искать подходящего лекарства». — «Дельно сказано, — заметила Лотта. — Мне, например, кажется, что многое зависит от нас самих. Я это по себе знаю: когда что-нибудь огорчает меня и вгоняет в тоску, я вскочу, пробежусь раз-другой по саду, напеваю контрдансы, и тоски как не бывало». — «Вот это я и хотел сказать, — подхватил я. — Дурное настроение сродни лени, оно, собственно, одна из ее разновидностей. От природы все мы с ленцой, однако же, если у нас хватит силы встряхнуться, работа начинает спориться, и мы находим в ней истинное удовольствие». Фредерика слушала очень внимательно, а молодой человек возразил мне, что не в нашей власти управлять собой, а тем более своими ощущениями. «Здесь речь идет о неприятных ощущениях, — отвечал я, — а от них всякий рад избавиться, и никто не знает предела своих сил, пока не испытывает их. Кто болен, тот уже обойдет всех врачей, согласится на любые жертвы, не откажется от самых горьких лекарств, лишь бы вернуть себе желанное здоровье». Я заметил, что старик пастор напрягает слух, желая принять участие в нашем споре; я возвысил голос и обратил свою речь к нему. «Церковные проповеди направлены против всяческих пороков, — говорил я, — но,

мне еще не доводилось слышать, чтобы с кафедры громили угрюмый нрав». <sup>1</sup> — «Пусть этим занимаются городские священники, — возразил он, — у крестьян не бывает плохого расположения духа; впрочем, иногда такая проповедь не помешала бы, хотя бы в назидание моей жене и господину амтману». Все общество рассмеялось, и сам он смеялся от души, пока не закашлялся, что на время прервало наш диспут; затем слово опять взял молодой человек. «Вы назвали угрюмый нрав пороком; на мой взгляд, это преувеличено». — «Ничуть, — отвечал я, — разве то, чем портят жизнь себе и своим ближним, не заслуживает такого названия? Мало того, что мы не в силах сделать друг друга счастливыми, неужто мы должны еще отнимать друг у друга ту радость, какая изредка выпадает на долю каждого? И назовите мне человека дурно настроенного и достаточно мужественного, чтобы скрывать свое настроение, одному страдать от него, не омрачая жизни окружающим. Притом же чаще всего дурное настроение происходит от внутренней досады на собственное несовершенство, от недовольства самим собой, неизбежно связанного с завистью, которую, в свою очередь, разжигает нелепое тщеславие. Видеть счастливых людей, обязанных своим счастьем не нам, — вот что несносно».

---

<sup>1</sup> У нас имеется теперь превосходная проповедь Лафатера\* на эту тему, между прочим, и по поводу книги пророка Ионы. (Примеч. автора).

Лотта улыбнулась мне, видя, с каким волнением я говорю, а слезы, блеснувшие в глазах Фредерики, подстрекнули меня продолжать: «Горе тому, кто, пользуясь своей властью над чужим сердцем, лишает его немудреных радостей, зарождающихся в нем самом. Никакое баловство, никакие дары не окупят минуты внутреннего удовлетворения, отравленной завистливой неприязнью нашего учителя».

Сердце мое переполнилось в этот миг; воспоминания о пережитом теснились в груди, и на глаза навернулись слезы.

«Вот что надо изо дня в день твердить себе, — заговорил я. — Одно только можешь ты сделать для друзей: не лишать их радости и приумножить их счастье, разделяя его с ними. Когда их терзает мучительная страсть, когда душа у них потрясена скорбью, способен ты дать им хоть каплю облегчения?»

И что же? Когда девушка, чьи лучшие годы отравлены тобой, лежит в полном изнеможении, сраженная последним, страшным недугом, и невидящий взор ее устремлен ввысь, а на бледном лбу проступает смертный пот, — тебе остается лишь стоять у постели, как преступнику, до глубины души ощущать свое бессилие и с мучительной тоской сознавать, что ты отдал бы все силы, лишь бы вдохнуть крупицу бодрости, искру мужества в холодеющее сердце!»

Воспоминание о подобной сцене, пережитой мною, сломило меня, пока я говорил. Я поднес

платок к глазам и поспешил покинуть общество, и только голос Лотты, кричавший мне: «Пора домой!» — отрезвил меня. И как же она бранила меня дорогой: нельзя все принимать так близко к сердцу! Это просто губительно! Надо побережь себя! Ангел мой! Я должен жить ради тебя!

6 июля.

Она все еще ходит за своей умирающей приятельницей и по-прежнему верна себе: то же прелестное заботливое создание, которое одним взглядом смягчает муки и дарит счастье. Вчера вечером она отправилась погулять с Марианной и крошкой Мальхен; я знал об этом, встретил ее, и мы пошли вместе. Погуляв часа полтора, мы возвратились в город и остановились у источника, который так мил мне, а теперь стал в тысячу раз милее. Лотта села на каменную ограду, а мы стояли перед ней. Я огляделся по сторонам, и — ах! — как живо вспомнилось мне время, когда сердце мое было так одиноко. «Милый источник, — сказал я, — с тех пор я ни разу не наслаждался твоей прохладой и даже мимоходом не бросал на тебя беглого взгляда». Я посмотрел вниз и увидел, что Мальхен бережно несет стакан воды. Я взглянул на Лотту и почувствовал, что она для меня значит. Тем временем подошла Мальхен. Марианна хотела взять у нее стакан. «Нет, нет! — воскликнула крошка и ласково добавила. — Отпей ты первая, Лотхен!» Я был до того умилен искренней нежностью ее слов, что

не мог сдерживать свои чувства, поднял малютку с земли и крепко поцеловал, а она расплакалась и раскричалась. «Вы нехорошо поступили», — заметила Лотта. Я был посрамлен. «Пойдем, Мальхен, — продолжала Лотта, взяла ребенка за руку и свела вниз по ступенькам. — Скорей, скорей, помойся свежей водицей, ничего и не будет!» А я стоял и смотрел, с каким усердием малютка терла себе щеки мокрыми ручонками, с какой верой, что чудотворный источник смывает нечистое прикосновение и спасет ее от угрозы обрасти бородой. Лотта говорила: «Довольно уже!», а девочка все мылась, считая, верно, что чем больше, тем лучше. Уверяю тебя, Вильгельм, зрелище крестин никогда не внушало мне подобного благоговения. Когда же Лотта поднялась наверх, мне хотелось пасть ниц перед ней, как перед пророком, омывшим грехи целого народа.

Вечером я не удержался и от полноты сердца рассказал этот случай одному человеку, которого считал чутким, потому что он неглуп. И попало же мне! Он заявил, что Лотта поступила очень нехорошо, что детей нельзя обманывать; подобные басни дают повод к бесконечным заблуждениям и суевериям, от коих надо заблаговременно оберегать детей. Я вспомнил, что у него в семье неделю назад были крестины, и поэтому промолчал, но в душе остался верен той истине, что мы должны поступать с детьми, как Господь поступает с нами, позволяя нам блуждать в блаженных грезах и тем даруя нам наивысшее счастье.

8 июля.

Какие мы дети! Как много для нас значит один взгляд! Какие же мы дети!

Мы отправлялись в Вальхейм. Дамы поехали в экипаже, и во время прогулки мне показалось, что в черных глазах Лотты... Я глупец, не сердись на меня, но если бы ты видел эти глаза! Буду краток, потому что у меня глаза слипаются. Ну, словом, дамы уселись в карету, а мы — молодой В., Зельштадт, Одран и я — стояли у подножки экипажа. Беспечная молодежь весело болтала с дамами. Я ловил взгляд Лотты! Увы, он скользил от одного к другому! Но меня, меня, смиренно стоявшего в стороне, он миновал! Сердце мое шептало ей тысячекратное «прости». А она и не взглянула на меня! Карета тронулась, на глаза мне навернулись слезы. Я смотрел ей вслед и видел, как из окошка высунулась знакомая шляпка, Лотта оглянулась. Ах! На меня ли?

Друг мой, в этой неизвестности я пребываю до сих пор. Единственное мое утешение: может быть, она оглянулась на меня?! Может быть!

Покойной ночи! Какое же я дитя!

10 июля.

Посмотрел бы ты, до чего у меня глупый вид, когда в обществе говорят о ней, а еще когда меня спрашивают, нравится ли мне она! Нравится — терпеть не могу это слово. Кем надо быть, чтобы

Лотта нравилась, а не заполняла все чувства, все помыслы! Нравится! Один тут недавно спрашивал меня, нравится ли мне Оссиан!\*

11 июля.

Госпоже М. очень плохо. Я молюсь, чтобы Господь сохранил ей жизнь, потому что горюю вместе с Лоттой. Мы изредка видимся у моей приятельницы, и сегодня Лотта рассказала мне удивительную историю. Старик М. — мелочный, придирчивый скряга, он всю жизнь тиранил и урезал в расходах свою жену, но она всегда умела как-то выходить из положения. Несколько дней тому назад, когда врач признал ее состояние безнадежным, она позвала к себе мужа (Лотта была при этом) и сказала ему: «Я должна покаяться перед тобой, потому что иначе у тебя после моей смерти будут неприятности и недоразумения. Я до сих пор вела хозяйство насколько могла бережливо и осмотрительно; однако ты простишь мне, что я все эти тридцать лет плутовала. В начале нашего супружества ты назначил ничтожную сумму на стол и другие домашние расходы. Когда хозяйство наше расширилось и прибыль возросла, ты ни за что не желал соответственно увеличить мне недельное содержание; словом, сам знаешь, как ни широко мы жили, ты заставлял меня обходиться семью гульденами в неделю. Я не перечила, а недостаток еженедельно пополняла из выручки, ведь никто не подумал бы, что хозяйка станет обкрадывать кассу. Я ничего не

промотала и могла бы, не признавшись, с чистой совестью отойти в вечность, но ведь та, что после меня возьмет в руки хозяйство, сразу же станет в тупик, а ты будешь твердить ей, что первая твоя жена умела сводить концы с концами».

Мы поговорили с Лоттой о невероятном ослеплении человека, который не подозревает, что дело нечисто, когда семи гульденов хватает там, где явно расходуется вдвое. Однако я сам встречал людей, которые не удивились бы, если бы у них в доме завелся кувшинчик с неиссякающим по милости пророка маслом.

13 июля.

Нет, я не обольщаюсь! В ее черных глазах я читаю непритворное участие ко мне и моей судьбе. Да, я чувствую, а в этом я вполне доверяюсь моему сердцу... Я чувствую, что она — могу ли, смею ли я выразить райское блаженство этих слов? — что она любит меня... Любит меня! Как это возвышает меня в собственных глазах! Как я... тебе можно в этом признаться, ты поймешь... как я благоговею перед самим собой с тех пор, как она любит меня!

Не знаю, дерзость ли это или верное чутье, только я не вижу себе соперника в сердце Лотты. И все же, когда она говорит о своем женихе и говорит так тепло, так любовно, я чувствую себя человеком, которого лишили всех почестей и чинов, у которого отобрали шпагу.



16 июля.

Ах, какой трепет пробегает у меня по жилам, когда пальцы наши соприкоснутся невзначай или нога моя под столом встретит ее ножку! Я отшатываюсь, как от огня, но тайная сила влечет меня обратно — и голова идет кругом! А она в невинности своей, в простодушии своем не чувствует, как мне мучительны эти мелкие вольности! Когда во время беседы она кладет руку на мою и, увлекшись спором, придвигается ко мне ближе, и ее божественное дыхание достигает моих губ, — тогда мне кажется, будто я тону, захлестнутый ураганом. Но если когда-нибудь я употреблю во зло эту ангельскую доверчивость и... ты понимаешь меня, Вильгельм! Нет, сердце мое не до такой степени порочно. Конечно, оно слабо, очень слабо. А разве это не пагубный порок?

Она для меня святыня. Всякое вожделение смолкает в ее присутствии. Я сам не свой возле нее, каждая частица души моей потрясена. У нее есть одна излюбленная мелодия, которую она божественно играет на фортепьяно, так просто и так одухотворенно! Первая же нота этой песенки исцеляет меня от грусти, тревоги и хандры.

Я без труда верю всему, что издавна говорилось о волшебной силе музыки. До чего трогает меня безыскусный напев! И до чего кстати умеет она сыграть его, как раз когда мне впору пустить себе пулю в лоб! Смятение и мрак моей души рассеиваются, и я опять дышу вольнее.

18 июля.

Вильгельм, что нам мир без любви! То же, что волшебный фонарь без света. Едва тыставишь в него лампочку, как яркие картины запестреют на белой стене! И пусть это будет только мимолетный мираж, все равно мы, точно дети, радуемся, глядя на него, и восторгаемся чудесными видениями. Сегодня мне не удалось повидать Лотту: докучные гости задержали меня. Что было делать? Я послал к ней слугу, чтобы иметь возле себя человека, побывавшего близ нее. С каким нетерпением я его ждал, с какой радостью встретил! Если бы мне не было стыдно, я притянул бы к себе его голову и поцеловал.

Говорят, что бононский камень,\* если положить его на солнце, впитывает в себя солнечные лучи, а потом некоторое время светится в темноте. Чем-то подобным был для меня мой слуга. Оттого, что ее глаза останавливались на его лице, щеках, на пуговицах ливреи, на воротнике плаща, — все это стало для меня такой святыней, такой ценностью! В тот миг я не уступил бы его и за тысячу талеров. В его присутствии мне было так отрадно. Упаси тебя Бог смеяться над этим! Вильгельм, мираж ли то, что дает нам отраду?

19 июля.

«Я увижу ее! — восклицаю я утром, просыпаясь и радостно приветствуя яркое солнце. — Я

увидю ее!» Других желаний у меня нет на целый день. Все, все поглощается этой надеждой.

20 июля.

Я еще отнюдь не решил послушаться вас и поехать с посланником в \*\*\*. Мне не очень-то по нутру иметь над собой начальство, а тут еще все мы знаем, что и человек-то он дрянной. Ты пишешь, что матушка хотела бы определить меня к делу. Меня это рассмешило. Разве сейчас я бездельничаю? И не все ли равно в конце концов, что перебирать: горох или чечевицу. Все на свете самообман, и глуп тот, кто в угоду другим, а не по собственному призванию и тяготению трудится ради денег, почестей или чего-нибудь еще.

24 июля.

Так как ты очень печешься о том, чтобы я не вздумал забросить рисование, я предпочел обойти этот вопрос, чем признаться тебе, как мало сделано за последнее время.

Никогда не был я так счастлив, никогда моя любовь к природе, к малейшей песчинке или былинке не была такой всеобъемлющей и проникновенной; и тем не менее — не знаю, как бы это объяснить, — мой изобразительный дар так слаб, а все так зыбко и туманно перед моим духовным взором, что я не могу запечатлеть ни одного очертания; мне кажется, будь у меня под рукой глина или воск, я бы сумел что-нибудь

создать. Если это не пройдет, я достану глины и буду лепить — пусть выходят хоть пирожки!

Трижды принимался я за портрет Лотты и трижды осрамился; это мне тем досаднее, что прежде я весьма успешно схватывал сходство. Тогда я сделал ее силуэт, и этим мне придется удовлетвориться.

25 июля.

Хорошо, милая Лотта, я все добуду и доставлю; давайте мне побольше поручений и как можно чаще! Об одном только прошу вас: не посыпайте песком писем, адресованных мне. Сегодня я сразу же поднес записочку к губам, и у меня захрустело на зубах.

26 июля.

Я не раз уже давал себе слово пореже видеться с ней. Но попробуй-ка сдержи слово! Каждый день я не могу устоять перед искушением и свято обещаю пропустить завтрашний день.

А когда наступает завтрашний день, я неизменно нахожу веский предлог и не успеваю оглянуться, как я уже там. Либо она скажет с вечера: «Завтра вы, конечно, придете?» Как же после этого остаться дома? Либо даст мне поручение, и я считаю, что приличней самому принести ответ; а то день выдастся уж очень хороший, и я отправляюсь в Вальхейм, а оттуда до нее всего полчаса ходьбы. На таком близком расстоянии сила притяжения слишком велика — раз! — и я там.

Бабушка моя знала сказку про магнитную гору: когда корабли близко подплывали к ней, они теряли все железные части, гвозди перелетали на гору, и несчастные моряки гибли среди рушившихся досок.

30 июля.

Приехал Альберт, и мне надо удалиться. Пусть он будет лучшим, благороднейшим из людей, и я сочту себя во всех отношениях ниже его, тем не менее нестерпимо видеть его обладателем стольких совершенств. Обладателем! Одним словом, Вильгельм, жених приехал. Он милый и славный, и необходимо с ним ладить. По счастью, я не был при встрече! Это надорвало бы мне душу. Надо сказать, он настолько деликатен, что еще ни разу не поцеловал Лотту в моем присутствии. Воздай ему за это Господь! Его стоит полюбить за то, что он умеет уважать такую девушку. Ко мне он доброжелателен, и я подозреваю, что это больше влияние Лотты, чем собственный почин; на это женщины мастерицы, и они правы: им же выгоднее, чтобы два вздыхателя ладили между собой, только это редко случается.

Однако же Альберт вполне заслуживает уважения. Его сдержанность резко отличается от моего беспокойного нрава, который я не умею скрывать. Он способен чувствовать и понимает, какое сокровище Лотта. По-видимому, он не склонен к мрачным настроениям, а ты знаешь, что этот порок мне всего ненавистнее в людях.

Он считает меня человеком незаурядным, а моя привязанность к Лотте и восхищение каждым ее поступком увеличивают его торжество, и он тем сильнее любит ее. Не могу поручиться, что он не донимает ее порой мелкой ревностью; во всяком случае, на его месте я бы вряд ли уберегся от этого демона.

Как бы там ни было, но радость, которую я находил в обществе Лотты, для меня кончена. Что это — глупость или самообольщение? К чему названия? От этого дело не изменится! Все, что я знаю теперь, я знал еще до приезда Альберта, знал, что не имею права домогаться ее, и не домогался. Конечно, поскольку можно не стремиться к обладанию таким совершенством; а теперь, видите ли, дурачок удивляется, что явился соперник и забрал у него любимую девушку.

Я стискиваю зубы и смеюсь над собственным несчастьем, но вдвойне, втройне смеялся бы над тем, кто сказал бы, что я должен смириться, и раз иначе быть не может... ах, избавьте меня от таких болванов! Я бегаю по лесам, а когда прихожу к Лотте и с ней в беседке сидит Альберт и мне там не место, тогда я начинаю шалить и дурачиться, придумываю разные шутки и проказы.

«Ради Бога! Умоляю вас, без вчерашних сцен! — сказала мне Лотта. — Ваша веселость страшна». Между нами говоря, я улучаю время, когда он занят, миг — и я там, и невыразимо счастлив, если застаю ее одну.

8 августа.

Бог с тобой, милый Вильгельм! Я вовсе не имел в виду тебя, когда называл несносными людей, требующих от нас покорности неизбежной судьбе. Мне и в голову не приходило, что ты можешь разделять их мнение. Но в сущности ты прав. Только вот что, друг мой! На свете редко приходится решать либо — да, либо — нет! Чувства и поступки так же многообразны, как разновидности носов между орлиным и вздернутым. Поэтому не сердись, если я, признав все твои доводы, тем не менее попытаюсь найти лазейку между «да» и «нет».

Ты говоришь: либо у тебя есть надежда добиться Лотты, либо нет. Так! В первом случае старайся увенчать свои желания; в противном случае возьми себя в руки, попытайся избавиться от злополучного чувства, которое измучает тебя вконец! Легко сказать, милый друг, но только лишь сказать...

А если перед тобой несчастный, которого медленно и неотвратно ведет к смерти изнурительная болезнь, можешь ты потребовать, чтобы он ударом кинжала сразу пресек свои мучения? Ведь недуг, истощая все силы, отнимает и мужество избавиться от него.

Конечно, ты мог бы в ответ привести другое сравнение: всякий предпочитает отдать на отсечение руку, чем слабостью и нерешительностью поставить под угрозу самую свою жизнь. Пожа-

луй! Но на этом перестанем донимать друг друга сравнениями. Довольно!

Да, Вильгельм, у меня бывают вспышки такого мужества, когда я готов вскочить, все стряхнуть с себя и бежать, только не знаю — куда.

*Вечером.*

Сегодня мне попался в руки мой дневник, который я забросил с некоторых пор, и меня поразило, как сознательно я, шаг за шагом, шел на это, как ясно все время видел свое состояние и тем не менее поступал не лучше ребенка, и теперь еще ясно вижу все, но даже не собираюсь образумиться.

*10 августа.*

Я мог бы вести чудесную, радостную жизнь, не будь я глупцом. Обстоятельства складываются на редкость счастливо для меня. Увы! Верно говорят, что счастье наше в нас самих. Я считаюсь своим в прекраснейшей из семей, старик любит меня как сына, малыши — как отца, а Лотта... И вдобавок добрейший Альберт, который никогда не омрачает моего счастья сварливыми выходками, а, наоборот, окружает меня сердечной дружбой и дорожит мною больше, чем кем-нибудь на свете после Лотты! Любо послушать, Вильгельм, как мы во время прогулки беседуем друг с другом о Лотте. На свете не найдешь ничего смешнее этого положения, только мне от него часто хочется плакать.



Он мне рассказывает о том, как почтенная матушка Лотты на смертном одре завещала ей хозяйство и детей, а ему поручила Лотту; как с той поры Лотта совсем переродилась: в хлопотах по дому и в житейских заботах она стала настоящей матерью; каждый миг ее дня заполнен деятельной любовью и трудом, и тем не менее природная веселость и жизнерадостность никогда ее не покидают! Я иду рядом с ним, рву придорожные цветы, бережно собираю их в букет и... бросаю в протекающий ручеек, а потом слежу, как они медленно плывут по течению. Не помню, писал ли я тебе, что Альберт останется здесь и получит службу с приличным содержанием от двора, где к нему весьма благоволят. Я не встречал людей, равных ему по расторопности и усердию в работе.

*12 августа.*

Бесспорно, лучше Альберта нет никого на свете. Вчера у нас с ним произошла удивительная сцена. Я пришел к нему проститься, потому что мне взбрело на ум отправиться верхом в горы, откуда я и пишу тебе сейчас; и вот, когда я шагал назад и вперед по комнате, мне попались на глаза его пистолеты. «Одолжи мне на дорогу пистолеты», — попросил я. «Сделай милость, — отвечал он. — Но потрудись сам зарядить их; у меня они висят только для украшения». Я снял один из пистолетов, а он продолжал: «С тех пор как предусмотрительность моя сыграла со мной злую

шутку, я их и в руки не беру». Я любопытствовал узнать, как было дело, и вот что он рассказал: «Около трех месяцев жил я в деревне у приятеля, держал при себе пару незаряженных карманных пистолетов и спал спокойно. Однажды в дождливый день сижу я, скучаю, и бог весть почему мне приходит в голову: а вдруг на нас нападут, вдруг нам понадобятся пистолеты, вдруг... словом, ты знаешь, как это бывает. Я сейчас же велел слуге почистить и зарядить их; а он давай балагурить с девушками, пугать их, а шомпол еще не был вынут, пистолет выстрелил невзначай, и шомпол угодил одной девушке в правую руку и раздробил большой палец. Мне пришлось выслушать немало нареканий и вдобавок заплатить за лечение. С тех пор я воздерживаюсь заряжать оружие. Вот она — предусмотрительность! Опасности не предугадаешь, сердечный друг! Впрочем...» Надо тебе сказать, что я очень люблю его, пока он не примется за свои «впрочем». Само собой понятно, что из каждого правила есть исключения. Но он до того добросовестен, что, высказав какое-нибудь, на его взгляд, опрометчивое, общее, непроверенное суждение, он засыплет тебя оговорками, сомнениями, возражениями, пока от сути дела ничего не останется. На этот раз он тоже залез в какие-то дебри; под конец я совсем перестал слушать и шутки ради внезапным жестом прижал дуло пистолета ко лбу над правым глазом. «Фу! К чему это?» — сказал Альберт, отнимая у меня пистолет. «Да ведь он не заря-

жен», — возразил я. «Все равно это ни к чему, — сердито перебил он. — Даже представить себе не могу, как это человек способен дойти до такого безумия, чтобы застрелиться; самая мысль претит мне». — «Странный вы народ, — вырвалось у меня. — Для всего у вас готовы определения: то безумно, то умно, это хорошо, то плохо! А какой во всем этом смысл? Разве вы вникли во внутренние причины данного поступка? Можете вы с точностью проследить ход событий, которые привели, должны были привести к нему? Если бы вы взяли на себя этот труд, ваши суждения не были бы так опрометчивы».

«Согласись, — заметил Альберт, — что некоторые поступки всегда безнравственны, из каких бы побуждений они ни были совершены».

Пожав плечами, я согласился с ним. «Однако, друг мой, — продолжал я, — здесь тоже возможны исключения. Конечно, воровство всегда безнравственно; однако же человек, идущий на грабеж, чтобы спасти себя и свою семью от неминуемой голодной смерти, заслуживает скорее жалости, нежели кары. А кто бросит камень в супруга, в справедливом гневе казнящего неверную жену и ее недостойного соблазнителя? Или в девушку, которая губит себя, в безудержном порыве предавшись минутному упоению любви. Даже законники наши, хладнокровные педанты, смягчаются при этом и воздерживаются от наказания».

«Это дело другое, — возразил Альберт. — Ибо человек, увлекаемый страстями, теряет спо-

способность рассуждать, и на него смотрят как на пьяного или помешанного».

«Ах вы, разумники! — с улыбкой произнес я. — Страсть! Опыянение! Помешательство! А вы, благонравные люди, стоите невозмутимо и безучастно в сторонке и хулите пьяниц, презираете безумцев и проходите мимо, подобно священнику, и, подобно фарисею, благодарите Господа, что он не создал вас подобными одному из них. Я не раз бывал пьян, в страстях всегда доходил до грани безумия и не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо в меру своего разумения я постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, нечто с виду непостижимое, издавна объявляют пьяными и помешанными. Но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на мало-мальски смелый, честный, непредусмотренный поступок, непременно кричат: „Да он пьян! Да он рехнулся!“ Стыдитесь вы, трезвые люди, стыдитесь, мудрецы!»

«Очередная твоя фантазия, — сказал Альберт. — Вечно ты перехватываешь через край, а тут уж ты кругом неправ, — речь ведь идет о самоубийстве, и ты сравниваешь его с великими деяниями, когда на самом деле это несомненная слабость: куда легче умереть, чем стойко сносить мученическую жизнь».

Я готов был оборвать разговор, потому что мне несноснее всего слушать, как меня потчуют ничтожными прописными истинами, когда сам я говорю от полноты сердца. Однако я сдержался,

ибо не раз уже слышал их и возмущался ими, и с живостию возразил ему: «Ты это именуешь слабостью? Сделай одолжение, не суди по внешним обстоятельствам. Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи, — неужто ты назовешь его слабым? А если у человека пожар в доме и он под влиянием испуга напряжет все силы и с легкостью будет таскать тяжести, которые в обычном состоянии и с места бы не сдвинул; и если другой, возмущенный обидой, схватится с шестерыми и одолеет их, — что ж, по-твоему, оба они слабые люди? А раз напряжение — сила, почему же, добрейший друг, перенапряжение должно быть ее противоположностью?»

Альберт посмотрел на меня и сказал:

«Не сердись, но твои примеры, по-моему, тут ни при чем».

«Допустим, — согласился я. — Мне уже не раз ставили на вид, что мои рассуждения часто граничат с нелепицей. Попробуем как-нибудь иначе представить себе, каково должно быть на душе у человека, который решился сбросить обычно столь приятное бремя жизни; ибо мы имеем право по совести судить лишь о том, что прочувствовали сами. Человеческой природе положен определенный предел, — продолжал я. — Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет. Значит, вопрос не в том, силен он или слаб, а может ли он претерпеть меру своих

страданий, все равно душевных или физических, и, по-моему, так же дико говорить: тот трус, кто лишает себя жизни, — как называть трусом человека, умирающего от злокачественной лихорадки».

«Это парадоксально. До крайности парадоксально!» — вскричал Альберт.

«Не в такой мере, как тебе кажется, — возразил я. — Ведь ты согласен, что мы считаем смертельной болезнью такое состояние, когда силы человеческой природы отчасти истощены, отчасти настолько подорваны, что поднять их и какой-нибудь благодетельной встряской восстановить нормальное течение жизни нет возможности.

А теперь, мой друг, перенесем это в духовную сферу. Посмотри на человека с его замкнутым внутренним миром, как действуют на него впечатления, как навязчивые мысли пускают в нем корни, пока все растущая страсть не лишит его всякого самообладания и не доведет до гибели.

Тщетно будет хладнокровный, разумный приятель анализировать состояние несчастного, тщетно будет увещевать его! Так человек здоровый, стоящий у постели больного, не волеет в него ни капли своих сил».

Для Альберта это были слишком отвлеченные разговоры. Тогда я напомнил ему о девушке, которую недавно вытащили мертвой из воды, и вновь рассказал ее историю:

«Милое юное создание, выросшее в тесном кругу домашних обязанностей, повседневных

будничных трудов, не знавшее других развлечений, как только надеть исподволь приобретенный воскресный наряд и пойти погулять по городу с подругами да еще в большой праздник поплясать немножко, а главное, с живейшим интересом посудачить часок-другой с соседкой по поводу какой-нибудь ссоры или сплетни; но вот в пылкой душе ее пробуждаются иные затаенные желания, и лесть мужчин только поощряет их; прежние радости становятся для нее пресны, и наконец она встречает человека, к которому ее неудержимо влечет неизведанное чувство; все ее надежды устремляются к нему, она забывает все вокруг, ничего не слышит, не видит, не чувствует, кроме него, единственного, и рвется к нему, единственному. Неискушенная пустыми утехами суетного тщеславия, она прямо стремится к цели: принадлежать ему, в нерушимом союзе обрести то счастье, которого ей недостает, вкусить сразу все радости, по которым она томилась. Многократные обещания подкрепляют ее надежды, дерзкие ласки разжигают ее страсть, подчиняют ее душу; она бродит, как в чаду, предвкушая все земные радости, она возбуждена до предела, наконец она раскрывает объятия навстречу своим желаниям, и... возлюбленный бросает ее. В оцепенении, в беспомощности стоит она над пропастью; вокруг сплошной мрак; ни надежды, ни утешения, ни проблеска! Ведь она покинута любимым, а в нем была вся ее жизнь. Она не видит ни Божьего мира вокруг, ни тех, кто может заменить ей

утрату, она чувствует себя одинокой, покинутой всем миром и, задыхаясь в ужасной сердечной муке, очертя голову бросается вниз, чтобы поглотить свои страдания в обступившей ее со всех сторон смерти». Видишь ли, Альберт, это история многих людей. И скажи, разве нет в ней сходства с болезнью? Природа не может найти выход из запутанного лабиринта противоречивых сил, и человек умирает. Горе тому, кто будет смотреть на все это и скажет: «Глупая! стоило ей выждать, чтобы время оказало свое действие, и отчаяние бы улеглось, нашелся бы другой, который бы ее утешил». Это все равно, что сказать: «Глупец! умирает от горячки. Стоило ему подождать, чтобы силы его восстановились, соки в организме очистились, волнение в крови улеглось: все бы тогда наладилось, и он жил бы по сей день».

Альберту и это сравнение показалось недостаточно убедительным, он начал что-то возражать, между прочим, что я привел в пример глупую девчонку; а как можно оправдать человека разумного, не столь ограниченного, с широким кругозором, — это ему непонятно. «Друг мой! — вскричал я. — Человек всегда останется человеком, и та крупница разума, которой он, быть может, владеет, почти или вовсе не имеет значения, когда свирепствует страсть и ему становится тесно в рамках человеческой природы. Тем более... Ну, об этом в другой раз», — сказал я и схватился за шляпу. Сердце у меня было переполнено! И мы разошлись, так и не поняв друг



друга. На этом свете люди редко понимают друг друга.

*15 августа.*

Ясно одно: на свете лишь сила любви делает человека желанным. Я вижу это по Лотте, ей жалко было бы потерять меня, а дети только и ждут, чтобы я приходил всякий день. Сегодня я отправился туда настраивать Лотте фортепьяно, но так и не выбрал для этого времени, потому что дети неотступно требовали от меня сказки и Лотта сама пожелала, чтобы я исполнил их просьбу. Я роздал им хлеб на ужин, от меня они принимают его почти так же охотно, как от Лотты, а потом рассказал любимую их сказочку о принцессе, которой прислуживали руки.\* Уверяю тебя, я сам при этом многому учусь: их впечатления поражают меня неожиданностью. Зачастую мне приходится выдумывать какую-нибудь подробность, и если в следующий раз я забываю ее, они сейчас же говорят, что в прошлый раз было иначе, и теперь уж я стараюсь без малейшего изменения бубнить все подряд нарастающим. Из этого я вынес урок, что вторым, даже улучшенным в художественном смысле, изданием своего произведения писатель неизбежно вредит книге. Мы очень податливы на первое впечатление и готовы поверить всему самому неправдоподобному, оно сразу же прочно внедряется в нас, и горе тому, кто сделает попытку вытравить или искоренить его!

18 августа.

Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий?

Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращавшая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением и точно жестокий демон преследует меня на всех путях. Бывало, я со скалы оглядывал свою цветущую долину от реки до дальних холмов и видел, как все вокруг растет, как жизнь там бьет ключом; бывало, я смотрел на горы, от подножия до вершины одетые высокими, густыми деревьями, и на многообразные извивы долин, под сенью чудесных лесов, и видел, как тихая река струится меж шуршащих камышей и отражает легкие облака, гонимые по небу слабым вечерним ветерком; бывало, я слышал птичий гомон, оживлявший лес, и миллионные рои мошек весело плясали в красном луче заходящего солнца, и последний яркий блик выманивал из травы гудящего жука; а стрекотание и возня вокруг привлекали мои взоры к земле, и мох, добывающий себе пищу в голой скале подо мной, и кустарник, растущий по сухому, песчаному косогору, открывали мне кипучую, сокровенную, священную жизнь природы; все, все заключал я тогда в мое трепетное сердце, чувствовал себя точно божеством посреди этого буйного изобилия, и величественные образы безбрежного мира жили, все одушевляя, во мне! Исполинские

горы окружали меня, пропасти открывались подо мною, потоки свергались вниз, у ног моих бежали реки, и слышны были голоса лесов и гор!

И я видел их, все эти непостижимые силы, взаимодействующие и создающие в недрах земли, на земле же и в поднебесье копошатся бесчисленные племена разнородных созданий, все, все населено многоликими существами, а люди прячутся, сбившись в кучу, по своим домишкам и воображают, будто они царят над всем миром! Жалкий глупец, ты все умаляешь, потому что сам ты так мал! От неприступных вершин, через пустыни, где не ступала ничья нога, до краев неведомого океана веет дух извечного Творца и радуется каждой песчинке, которая внемлет ему и живет. Ах, как часто в то время стремился я унести на крыльях журавля, пролетавшего мимо, к берегам необозримого моря, из пенистой чаши Вездесущего испытать головокружительное счастье жизни и на миг один приобщиться в меру ограниченных сил моей души к блаженству Того, кто все создает в себе и из себя!

Знаешь, брат, одно воспоминание о таких часах отрадно мне. Даже старание воскресить те невыразимые чувства и высказать их возвышает мою душу, а потом заставляет меня вдвойне ощущать весь ужас моего положения.

Передо мной словно поднялась завеса, и зрелище бесконечной жизни превратилось для меня в бездну вечно отверстой могилы. Можешь ли ты сказать: «Это есть», когда все проходит, когда

все проносится с быстротой урагана, почти никогда не исчерпав все силы своего бытия, смывается потоком и гибнет, увя, разбившись о скалы? Нет мгновения, которое не пожирало бы тебя и твоих близких, нет мгновения, когда бы ты не был, пусть против воли, разрушителем! Безобиднейшая прогулка стоит жизни тысячам жалких червячков; один шаг сокрушает постройки, кропотливо возведенные муравьями, и топчет в прах целый мирок. О, нет, не великие, исключительные всемирные бедствия трогают меня, не потопа, смывающие ваши деревни, не землетрясения, поглощающие ваши города: я не могу примириться с разрушительной силой, сокрытой во всей природе и ничего не создавшей такого, что не истребляло бы своего соседа или самого себя. И я мечусь в страхе. Вокруг меня животворящие силы неба и земли. А я не вижу ничего, кроме всепожирающего и всеперемалывающего чудовища.

*21 августа.*

Напрасно простираю я к ней объятия, очнувшись утром от тяжелых снов, напрасно ищущу ее ночью в своей постели, когда в счастливом и невинном сновидении мне пригрезится, будто я сижу возле нее на лугу и осыпаю поцелуями ее руку. Когда же я тянусь к ней, еще одурманенный дремотой, и вдруг просыпаюсь, — поток слез исторгается из моего стесненного сердца, и я плачу безутешно, предчувствуя мрачное будущее.

22 августа.

Это поистине несчастье, Вильгельм! Мои деятельные силы разладились, и я пребываю в какой-то тревожной апатии, не могу сидеть сложа руки, но и делать ничего не могу. У меня больше нет ни творческого воображения, ни любви к природе, и книги противны мне. Когда мы потеряли себя, все для нас потеряно. Право же, иногда мне хочется быть поденщиком, чтобы, проснувшись утром, иметь на предстоящий день хоть какую-то цель, стремление, надежду. Часто, глядя, как Альберт сидит, зарывшись по уши в деловые бумаги, я завидую ему и, кажется, был бы рад поменяться с ним. Сколько раз уж было у меня поползновение написать тебе и министру и ходатайствовать о месте при посольстве, в чем, по твоим уверениям, мне не было бы отказано. Я и сам в этом уверен: министр с давних пор ко мне расположен и не раз уж настаивал, чтобы я занялся каким-нибудь делом! Я ношусь с этой мыслью некоторое время. А потом, как подумаю хорошенько да вспомню басню о коне, который, прискучив свободой, добровольно дал себя оседлать и загнать до полусмерти, — тут уж я совсем не знаю, как быть! Милый друг, что если только тягостная душевная тревога заставляет меня жаждать перемен и все равно повсюду будет преследовать меня?

28 августа.

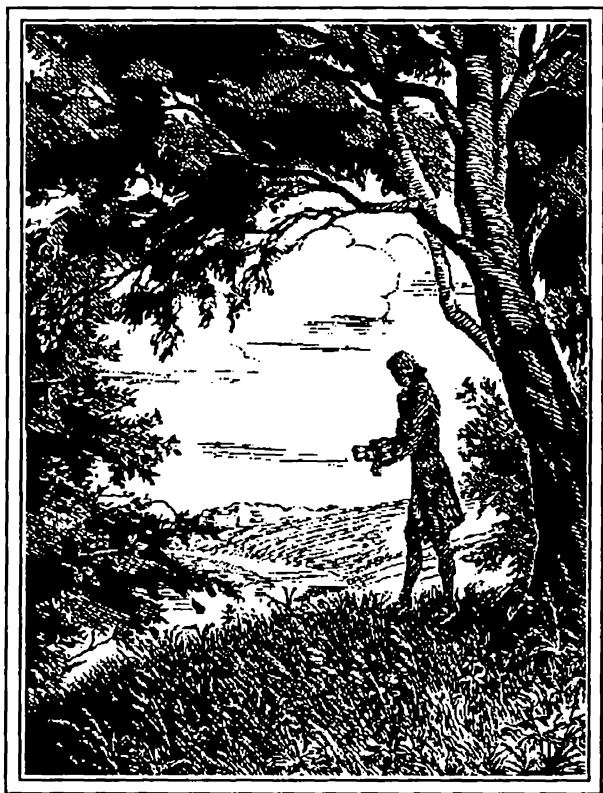
Без сомнения, будь моя болезнь исцелима, только эти люди могли бы вылечить ее. Сегодня день моего рождения. Рано утром я получаю сверточек от Альберта, раскрываю его и прежде всего нахожу один из розовых бантов, которые были на Лотте, когда мы познакомились, и которые я много раз просил у нее. К этому были приложены две книжечки в двенадцатую долю листа — маленький Гомер в ветштейновском издании,\* которое я давно искал, чтобы не таскать с собой на прогулку эрнестовские фолианты.\* Видишь, как они угадывают мои желания и спешат оказать мелкие дружеские услуги, в тысячу раз более ценные, нежели пышные дары, которые тешат тщеславие даятеля и унижают нас. Я без конца целую этот бант, вдыхая воспоминание о счастье, которым наполнили меня те недолгие, блаженные, невозвратимые дни. Так уж водится, Вильгельм, и я не ропщу; цветы жизни одна лишь видимость. Сколько из них облетает, не оставив следа! Плоды дают лишь немногие, и еще меньше созревает этих плодов! А все-таки их бывает достаточно, и что же... брат мой, неужто мы презрим, оставим без внимания зрелые плоды, дадим им сгнить, не вкусив их?

Прощай! Лето великолепное! Часто я взбираюсь на деревья в плодовом саду у Лотты и длинным шестом снимаю с верхушки спелые груши, Лотта стоит внизу и принимает их у меня.

30 августа.

Не глупец ли я несчастный? И не обманываю ли сам себя? К чему эта буйная, неутолимая страсть? Я молюсь ей одной, воображение вызывает передо мной лишь ее образ, все на свете существует для меня лишь в сочетании с ней. Сколько счастливых минут переживаю я при этом, но в конце концов мне приходится покидать ее! Ах, Вильгельм! Куда порой влечет меня сердце!

Когда я посижу у нее часа два-три, наслаждаясь ее красотой, грацией, чудесным смыслом ее слов, чувства мои мало-помалу достигают высшего напряжения, в глазах темнеет, я едва слышу, что-то сжимает мне горло убийственной хваткой, а сердце болезненными ударами стремится дать выход чувствам и лишь усиливает их смятение, — Вильгельм, в такие минуты я не помню себя! И если порой грусть не берет верх и Лотта отказывает мне в скудном утешении выплакать мою тоску, склонясь над ее рукой, — тогда я рвусь прочь на простор. Тогда я бегаю по полям, и лучшая моя отрада одолеть крутой подъем, проложить тропинку в непроходимой чаще, продираясь сквозь терновник, напарываясь на шипы. После этого мне становится легче, чуть легче. Иногда от усталости и жажды я падаю в пути, иногда глубокой ночью при свете полной луны я сажусь в глухом лесу на согнувшийся сук, чтобы дать немножко отдыха израненным ногам, а



Публикуется по изданию: Гете И. В. Страдания юного Вертера. М.: Гос. изд-во Детской литературы Мин-ва просвещения РСФСР. 1963.



потом перед рассветом забываюсь томительным полусном! Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, власяница и вериги были бы блаженством для моей души.\* Прощай! Я не вижу иного конца этим терзаниям, кроме могилы!

*3 сентября.*

Мне надо уехать! Благодарю тебя, Вильгельм, за то, что ты принял за меня решение и положил конец моим колебаниям. Две недели ношусь я с мыслью, что мне надо ее покинуть. Надо уехать. Она опять гостит в городе у подруги. И Альберт... и... мне надо уехать!

*10 сентября.*

Что это была за ночь! Теперь я все способен снести, Вильгельм. Я никогда больше не увижу ее! Ах, если бы мог я броситься тебе на шею, друг мой, чтобы в слезах умиления излить все чувства, теснящие грудь! А вместо этого я сижу тут, с трудом переводя дух, стараюсь успокоиться и жду утра — лошадей подадут на рассвете.

Ах, она спит спокойно и не подозревает, что никогда больше не увидится со мной. У меня хватило силы оторваться от нее, не выдав своих намерений в двухчасовой беседе. И какой беседе, боже правый!

Альберт обещал мне сейчас же после ужина сойти в сад вместе с Лоттой. Я стоял на террасе под большими каштанами и провожал взглядом

солнце, в последний раз на моих глазах заходившее над милой долиной, над тихой рекой.

Сколько раз стоял я здесь с нею, созерцая то же чудесное зрелище, а теперь... Я шагал взад и вперед по моей любимой аллее. Таинственная симпатическая сила часто привлекала меня сюда еще до встречи с Лоттой, и как же мы обрадовались, когда в начале знакомства обнаружили обоюдное влечение к этому уголку, поистине одному из самых романтических, какие были созданы когда-либо рукой человека.

Вообрази себе: сперва между каштановыми деревьями открывается широкая перспектива. Впрочем, я, кажется, уже не раз описывал тебе, как высокие стены буков мало-помалу сдвигаются и как аллея от примыкающего к ней боскета становится еще темнее и заканчивается замкнутым со всех сторон уголком, в котором всегда веет ужасом одиночества. Помню, как сейчас, какой трепет охватил меня, когда я впервые попал сюда в летний полдень: тайное предчувствие подсказывало мне, сколько блаженства и боли будет здесь пережито.

С полчаса предавался я мучительным и сладостным думам о разлуке и грядущей встрече, когда услышал, что они поднимаются на террасу. Я бросился им навстречу, весь дрожа, схватил руку Лотты и прильнул к ней губами. Едва мы очутились наверху, как из-за поросшего кустарником холма взошла луна; болтая о том о сем, мы незаметно приблизились к сумрачной беседке.

Лотта вошла и села на скамью, Альберт сел рядом, я тоже, но от внутренней тревоги не мог усидеть на месте, вскочил, постоял перед ними, прошелся взад и вперед, сел снова; состояние было тягостное. Она обратила наше внимание на залитую лунным светом террасу в конце буковой аллеи — великолепное зрелище, тем более поразительное, что здесь нас обступала полная тьма. Мы помолчали, а немного погодя она заговорила снова:

«Когда я гуляю при лунном свете, передо мной всегда неизменно встает воспоминание о дорогих покойниках и ощущение смерти и того, что будет за ней, охватывает меня. Мы не исчезнем, — продолжала она проникновенным голосом. — Но свидимся ли мы вновь, Вертер? Узнаем ли друг друга? Что вы предчувствуете, что скажете вы?»

«Лотта, — произнес я, протягивая ей руку, меж тем как глаза у меня наполнились слезами. — Мы свидимся! Свидимся и здесь и там!» Я не мог говорить, Вильгельм, и надо же было, чтобы она спросила меня об этом, когда душу мне томила мысль о разлуке!

«Знают ли о нас дорогие усопшие, — вновь заговорила она, — чувствуют ли, с какой любовью вспоминаем мы их, когда нам хорошо? Образ моей матери всегда витает предо мной, когда я тихим вечером сижу среди ее детей, моих детей, и они теснятся вокруг меня, как теснились вокруг нее. И когда я со слезами грусти поднимаю глаза

к небу, мечтая, чтобы она на миг заглянула сюда и увидела, как я держу данное в час ее кончины слово быть матерью ее детям, о, с каким волнением восклицаю я тогда: „Прости мне, любимая, если я не могу всецело заменить им тебя! Ах, ведь я все делаю, что в моих силах: кормлю и одеваю и, что важнее всего, люблю и лелею их! Если бы ты видела наше согласие, родимая, святая, ты возблагодарила и восславила бы Господа, которого в горьких слезах молила перед кончиной о счастье своих детей!”»

Так говорила она — ах, Вильгельм, кто перескажет то, что она говорила! Как может холодное, мертвое слово передать божественное цветение души! Альберт ласково прервал ее: «Это слишком тревожит вас, милая Лотта! Я знаю, вы склонны предаваться такого рода размышлениям, но, пожалуйста, не надо...» — «Ах, Альберт, — возразила она, — я знаю, ты не забудешь тех вечеров, когда папа бывал в отъезде, а мы отсылали малышей спать и сидели втроем за круглым столиком. Ты часто приносил с собой хорошую книгу, но очень редко заглядывал в нее, потому что ценнее всего на свете было общение с этой светлой душой, с этой прекрасной, нежной, жизнерадостной и неутомимой женщиной! Бог видел мои слезы, когда я ночью падала перед ним ниц с мольбой, чтобы он сделал меня похожей на нее».

«Лотта! — вскричал я, бросаясь перед ней на колени и орошая слезами ее руку. — Лотта! Благословение Господне и дух матери твоей почует

на тебе!» — «Если бы только вы знали ее! — сказала она, пожимая мне руку, — она была достойна знакомства с вами!» У меня захватило дух — никогда еще не удостоивался я такой лестной, такой высокой похвалы. А она продолжала: «И этой женщине суждено было скончаться во цвете лет, когда младшему сыну ее не было и полгода. Болела она недолго и была спокойна и покорна; только скорбела душой за детей, в особенности за маленького. Перед самым концом она сказала мне: „Позови их!“ И когда я привела малышей, ничего не понимавших, и тех, что постарше, растерявшихся от горя, они обступили ее кровать, а она воздела руки и помолилась за них и поцеловала каждого, а потом отослала детей и сказала мне: „Будь им матерью!“ Я поклялась ей в этом. „Ты обещаешь им материнское сердце и материнское око. Это много, дочь моя. По твоим благодарным слезам я не раз видела, что ты чувствуешь, как это много. Замени же мать твоим братьям и сестрам, а отцу верностью и преданностью замени жену! Будь им утешением“. Она спросила о нем. Он вышел из дому, чтобы скрыть от нас свою нестерпимую скорбь; он не мог владеть собой. Ты тогда был в комнате, Альберт. Она спросила, чьи это шаги, и позвала тебя. Потом она посмотрела на тебя и на меня светлым, утешенным и успокоенным взглядом, говорившим, что мы будем счастливы, будем счастливы друг с другом». Альберт бросился на шею Лотте и, целуя ее, воскликнул: «Мы счастливы и будем

счастливы!» Даже спокойный Альберт потерял самообладание, а я совсем не помнил себя.

«Вертер! — обратилась она ко мне. — И подумать, что такой женщине суждено было умереть! Господи, как же мы позволяем уносить самое дорогое, что есть в жизни, и только дети по-настоящему остро ощущают это, недаром они долго еще жаловались, что черные люди унесли маму!»

Она поднялась, а я, взволнованный и потрясенный, не двигался с места и держал ее руку. «Пойдем! — сказала она. — Пора!» Она хотела отнять руку, но я крепче сжал ее. «Мы свидимся друг с другом! — воскликнул я. — Мы найдем, мы узнаем друг друга в любом облике! Я уйду, уйду добровольно, — продолжал я, — и все же, если бы мне надо было сказать „навек“, у меня не хватило бы сил. Прощай, Лотта! Прощай, Альберт! Мы еще свидимся!» — «Завтра, надо полагать», — шутя заметила она. Что я почувствовал от этого «завтра»! Увы! Знала бы она, отнимая свою руку... Они пошли по аллее, залитой лунным светом, я стоял и смотрел им вслед, потом бросился на траву, наплакался вволю, вскочил, выбежал на край террасы и увидел еще, как внизу в тени высоких лип мелькнуло у калитки ее белое платье; я протянул руки, и оно исчезло.

## КНИГА ВТОРАЯ

20 октября 1771 г.

Вчера мы прибыли сюда. Посланник нездоров и поэтому несколько дней не выйдет из дому. Все бы ничего, будь он покладистее. Я чувствую, чувствую, что судьба готовит мне суровые испытания. Но не будем унывать! При беспечном нраве все легко! Беспечный нрав? Даже смешно, как из-под моего пера вышли эти слова. Ах, немножко больше беспечности, и я был бы счастливейшим из смертных! Что же это в самом деле? Другие в невозмутимом самодовольстве кичатся передо мной своими ничтожными силенками и талантами, а я отчаиваюсь в своих силах и дарованиях? Боже всеблагий, оделивший меня так щедро, почему не удержал ты половину и не дал мне взамен самоуверенности и невзыскательности?

Ничего, ничего, все наладится. Ты совершенно прав, мой милый. С тех пор как я целые дни провожу на людях и вижу их делишки и повадки, я гораздо снисходительнее к себе. Раз уж мы так созданы, что все применяем к себе и себя ко всему, значит, радость и горе зависят от того, что нас окружает, и ничего нет опаснее одиночества. Воображение наше, по природе своей стремящееся подняться над миром, вскормленное фантастическими образами поэзии, нарисовало себе образы людей, стоящих неизмеримо выше нас, и

все, кроме нас, кажется нам необыкновенным, всякий другой человек представляется нам совершенством. И это вполне естественно. Мы на каждом шагу чувствуем, как много нам недостает, мы часто видим у другого то, чего лишены сами, приписывая ему свои собственные качества, а в придачу наделяя его несокрушимым душевным спокойствием. И вот счастливое порождение нашей фантазии готово. Зато когда мы неуверенно и кропотливо с трудом пробиваемся вперед, то нередко обнаруживаем, что мы, спотыкаясь и плутая, добрались дальше, чем другие, плывя на всех парусах, и вот тут-то, поравнявшись с другими или даже опередив их, испытываешь чувство подлинного самоутверждения.

26 ноября.

Я начинаю кое-как осваиваться здесь. Самое главное, что дела достаточно; а кроме того, меня развлекает пестрое зрелище разнообразных людей, новых, разнородных типов. Я познакомился с графом К. и с каждым днем все сильнее почитаю его: это большой, светлый ум, но отнюдь не засушенный обширными познаниями; в его общении чувствуется столько ласкового дружелюбия! У меня было к нему деловое поручение, и он сразу же принял во мне участие, с первых слов увидев, что мы понимаем друг друга и что не с каждым можно так говорить, как со мной. Я, со своей стороны, глубоко тронут его приветливым и простым обращением. Право же, самая лучшая,



самая чистая на свете радость — слушать откровенные излияния большой души.

24 декабря.

Посланник сильно досаждаёт мне; я этого ожидал. Такого педантичного дурака ещё не видел мир. Все он делает строго по порядку, придирчив, как старая дева, и вечно недоволен собой, а потому и на него ничем не угодишь. У меня работа спорится, и пишу я сразу набело. А он способен возвратить мне бумагу и сказать: «Недурно, но просмотрите-ка ещё раз — всегда можно найти более удачное выражение и более правильный оборот». Тут уж я прихожу в бешенство. Ни одного и, ни одного союза он тебе не уступит и ярко ополчается против инверсий, которые нет-нет да проскользнут у меня. Фразы ему надо строить на строго определённый лад, иначе он ничего не поймет. Горе иметь дело с таким человеком! Единственное мое утешение — дружба графа К. На днях он вполне откровенно высказал мне свое недовольство медлительностью и педантством моего посланника. «Такие люди только осложняют жизнь себе и другим. Но ничего не поделаешь, — добавил он. — Приходится мириться, как путешественнику, которому надо перевалить через гору; не будь горы, дорога была бы много удобнее и короче, но раз она есть, необходимо одолеть ее!»

Старик мой чует, что граф оказывает мне предпочтение перед ним, и это его злит; он поль-

зуются любым случаем дурно отозваться при мне о графе: я, разумеется, не даю ему спуска, отчего положение только осложняется. Вчера я окончательно возмутился, потому что он попутно затронул и меня самого. Для светского обихода граф, мол, вполне на месте; и работает с легкостью, и пером владеет бойко, но глубокой ученостью он не отличается, как и все литераторы. Выражение его лица при этом ясно говорило: «Ловко я тебя поддел?» Но меня это ничуть не тронуло; я презираю людей, которые могут так думать и так себя вести. Я дал ему довольно резкий отпор, сказав, что граф заслуживает всяческого уважения как своим характером, так и своими познаниями. «Мне не доводилось видеть людей, — сказал я, — которым посчастливилось бы в такой степени расширить свой кругозор, распространить свою любознательность на разнообразнейшие предметы и остаться столь же деятельным в повседневной жизни». Для мозгов старого ворчуна это была китайская грамота, и я поспешил откланяться, чтобы окончательно не выйти из себя от какого-нибудь нового абсурда.

И в этом повинны вы все, из-за ваших уговоров и разглагольствований о пользе труда впрягся я в это ярмо! Труд! Да тот, кто сажает картофель и возит в город зерно на продажу, делает куда больше меня; если я неправ, я готов еще десять лет поработать на галере, к которой прикован сейчас.

А это блистательное убожество, а скука в обществе мерзких людишек, кишашщих вокруг!

Какая борьба мелких честолюбий; все только и смотрят, только и следят, как бы обскатать друг друга хоть на шаг; дряннейшие и подлейшие страсти в самом неприкрытом виде. Одна особа, например, похваляется перед первым встречным своей знатностью и своими именами, так что каждый неизбежно думает: вот дура! Превозносит невесть как свое захудалое дворянство и великолепие своих поместий. А хуже всего вот что: особа эта — дочь местного писаря. Право же, не могу я понять людей, которым не совестно срамиться таким вопиющим образом.

Поистине, я с каждым днем убеждаюсь все более, мой друг, что глупо судить о других по себе. Мне столько хлопот с самим собой, и сердце мое так строптиво, что мне мало дела до других, только бы им не было дела до меня.

Больше всего бесят меня пресловутые общественные отношения. Я сам не хуже других знаю, как важно различие сословий, как много выгод приносит оно мне самому; пусть только оно не служит мне препятствием, когда на моем пути встречается хоть немножко радости, хоть искра счастья. Недавно я познакомился на прогулке с некоей девицей фон Б., милым созданием, сохранившим много естественности в этом чопорном кругу. Мы разговорились и понравились друг другу, а на прощание я попросил разрешения посетить ее. Она так чистосердечно дала его, что я едва дождался подходящего случая отправиться к ней. Она не живет здесь постоянно, а только

гостит у тетки. Старуха с первого взгляда не понравилась мне. Я оказывал ей всяческое внимание, в разговоре обращался преимущественно к ней, и уже спустя полчаса мне было ясно то, в чем позднее призналась и сама девица, а именно: что милейшая тетушка, не имея в преклонных своих годах ни порядочного состояния, ни ума, никакой опоры, кроме внушительного ряда предков, огородилась, точно стеной, своим аристократизмом и не знает иной услады, как взирать с высоты своего величия поверх бюргерских голов. В молодости она, говорят, была хороша собой, прожигла жизнь, не одного несчастного юношу довела до отчаяния своим своенравием, а в зрелые годы всецело подчинилась отставному вояке, который на условиях полной покорности и за приличное вознаграждение согласился скоротать с ней ее медный век вплоть до самой своей смерти. Теперь для нее наступил одинокий железный век, и никто бы не нарушил ее одиночества, не будь так мила ее племянница.

8 января 1772 г.

Что это за люди, у которых все в жизни основано на этикете и целыми годами все помыслы и стремления направлены к тому, чтобы подняться на одну ступень выше! Можно подумать, что у них нет других занятий: наоборот, работы накапливаются вороха, именно потому, что мелкие дрязги задерживают выполнение крупных дел. На прошлой неделе во время катания на

санях вышла ссора, и все удовольствие было испорчено.

Глупцы, как они не видят, что место не имеет значения и тот, кто сидит на первом месте, редко играет первую роль! Разве мало королей, которыми управляет их министр, мало министров, которыми управляет их секретарь? И кого считать первым? Того, по-моему, кто насквозь видит других и обладает достаточной властью или достаточно хитер, чтобы воспользоваться их могуществом или их страстями для осуществления своих замыслов.

*20 января.*

Я принужден писать вам, милая Лотта, из убогой каморки на крестьянском постоялом дворе, где мне пришлось укрыться от непогоды. С тех пор как я маюсь в этом скверном городишке Д., посреди чужих, глубоко чуждых моему сердцу людей, меня ни разу, ни одного разу не потянуло написать вам; а здесь, в этой лачуге, вдали от всех, в полном уединении, когда снег и град неистово стучат в мое оконце, здесь первая моя мысль была о вас. Едва я вошел, как образ ваш предстал предо мной: воспоминания о вас, о, Лотта, так благоговейно, так трепетно возникли во мне. Боже правый, первый счастливый миг за столько времени!

Если бы вы видели меня, дорогая, в этом водовороте развлечений! Как иссушена моя душа! Ни одной минуты полноты чувств, ни одного

счастливого часа! Ничего! Ничего! Я словно захожусь в кукольном театре, смотрю, как движутся передо мной человечки и лошадки, и часто думаю, не оптический ли это обман? Я тоже играю на этом театре, вернее, мною играют, как марионеткой, порой хватаю соседа за деревянную руку и отшатываюсь в ужасе. С вечера я предполагаю полюбоваться на восход солнца, но не могу подняться с постели, днем я намереваюсь насладиться лунным светом и не выхожу из комнаты. Мне и самому непонятно, почему я встаю, почему ложусь спать.

Нет бродила, поднимавшего во мне жизненную энергию, исчезли чары, отгонявшие от меня сон глубокой ночью, пробуждавшие меня ранним утром.

Одно-единственное существо, достойное называться женщиной, остановило здесь мое внимание: некая девица фон Б., ее можно бы отдаленно сравнить с вами, но кто же равен вам? «Ого, — скажете вы, — он наловчился делать комплименты!» Тут есть доля правды. С некоторых пор я крайне любезен, потому что другим мне быть нельзя, весьма остер и, по мнению дам, лучше всех умею тонко польстить. «И солгать», — добавите вы; без этого не обойдешься, вы понимаете? Однако я говорил о девице Б. Голубые глаза ее отражают чувствительность души. Высокое положение ей только в тягость и ни в малой мере не радует ее. Она рвется прочь от этой суеты, и мы целыми часами мечтаем об

идиллической сельской жизни, ах! и о вас! Как часто вынуждена она перевозносить вас! Нет, не вынуждена, она делает это добровольно, с интересом слушает мои рассказы о вас, любит вас.

Ах, как бы мне хотелось сидеть у ваших ног в милой, уютной комнатке и чтобы наши дорогие малыши возились вокруг меня, и чтобы я привлек и утихомирил их страшной сказкой, если бы они, по-вашему, чересчур расшумелись!

Солнце необычайно красиво заходит над сверкающей снегами долиной, буря промчалась, а я... я должен возвращаться в свою клетку.

Прощайте! Альберт с вами? И что же?.. Господь да простит мне этот вопрос!

8 февраля.

Уже неделю у нас стоит отвратительная погода, и меня это только радует; с тех пор как я здесь, не было ни одного погожего дня, которого бы мне кто-нибудь не испортил и не отравил. А теперь, когда льет дождь, когда метет, морозит, тает, — я думаю: что ж, дома будет не хуже, чем на улице, и мне становится легче. Когда солнце встает утром и обещает ясный день, я не могу удержаться, чтобы не воскликнуть: вот Божий дар, который они постараются отнять друг у друга! Они всё отнимают друг у друга! Здоровье, доброе имя, радость, покой! И чаще всего по недомыслию, тупости и ограниченности, а послушать их, так с наилучшими намерениями. Иногда

я готов на коленях молить их не раздирать с такой яростью собственные внутренности.

17 февраля.

Боюсь, что мы с моим посланником недолго будем терпеть друг друга. Это положительно несносный старик. Его способы работы и ведения дел настолько смехотворны, что я принужден перечить ему и часто делаю по-своему, на что он, понятно, обижается.

Кончилось тем, что он нажаловался на меня при дворе, и министр выразил мне порицание, очень мягкое, но все же порицание, и я уже собрался подавать в отставку, как вдруг получил от него приватное письмо,<sup>1</sup> такое письмо, перед мудрым, возвышенным и благородным содержанием которого я мог только преклониться. Как он выговаривает мне за чрезмерную обидчивость и, отдавая должное юношескому задору, проглядывающему в моих сумасбродных идеях о полезной деятельности, о влиянии на других и вмешательстве в важные дела, пытается не искоренить их, а лишь смягчить и направить по тому пути, где они найдут себе верное применение и окажут плодотворное действие! Понятно, что это на целую неделю ободрило и умиротворило меня.

---

<sup>1</sup> Из уважения к этой почтенной личности упомянутое письмо, а также другое, о котором речь пойдет дальше, изъяты из настоящего архива и не будут опубликованы, ибо такую дерзость вряд ли могла бы извинить даже горячая признательность читателей. (Примеч. автора).



Великая вещь — душевное спокойствие и довольство собой. Только б не было, милый друг, это сокровище столь же хрупким, сколь оно ценно и прекрасно!

*20 февраля.*

Благослови вас Господь, мои дорогие, и даруй вам все те радости, которых он лишает меня.

Спасибо тебе, Альберт, за то, что ты обманул меня! Я ждал известия о дне вашей свадьбы и решил в тот самый день торжественно снять со стены силуэт Лотты и спрятать его среди всяких бумаг. Теперь вы уже супружеская чета, а портрет все еще на стене! Пусть там и остается! А почему бы и нет? Я знаю, я тоже с вами, не в ущерб тебе живу в сердце Лотты, занимаю там второе место, и хочу и должен сохранить его. О, я с ума сошел бы, если бы она могла забыть... Альберт, эта мысль для меня — ад. Альберт, прощай! Прощай, небесный ангел! Прощай, Лотта!

*15 марта.*

У меня была неприятность, из-за которой мне придется уехать отсюда: я скрежещу зубами от досады! Теперь уж эту дьявольскую историю ничем не исправишь, а виноваты в ней вы одни, вы же меня подстрекали, погоняли и заставляли взять место, которое было не по мне. Вот теперь получили и вы, и я! А чтобы ты не говорил, как всегда, будто мои сумасбродные фантазии всему

виной, изволь, сударь, выслушать подробный рассказ, изложенный с точностью и беспристрастием летописца.

Граф фон К. любит и отличает меня: это дело известное, я тебе об этом говорил уже сотни раз. Так вот вчера был я приглашен к обеду, а как раз в этот день по вечерам у него собираются знатные кавалеры и дамы; я об этом обществе никогда не помышлял, а потому понятия не имел, что нам, подначальным, там не место. Отлично. Я отобедал у графа; встав из-за стола, мы отправились в большую залу и прогуливались там взад и вперед, беседуя между собой, потом к нам присоединился полковник Б., и так наступил час съезда гостей. Мне и в голову ничего не приходит, как вдруг появляется высокородная госпожа фон С. с супругом и свежевылупившейся плоскогрудой гусыней-дочкой в аккуратном корсетике, и en passant на аристократический манер таращат глаза и раздувают ноздри, а так как эта порода глубоко противна мне, я сразу же собрался откланяться и только ждал, чтобы граф избавился от их несносной болтовни, но тут вошла моя приятельница фрейлейн Б. При виде ее мне, как всегда, сделалось немножко веселее на душе, я не ушел и встал позади ее кресла и только через некоторое время заметил, что она говорит со мной менее неприужденно, чем обычно, и как-то смущена. Это меня поразило. «Неужто и она такая же, как все?» — подумал я в обиде и решил уйти, и все-таки остался, потому что не хотел этому ве-

рить, искал ей оправдания и ждал от нее приветливого слова, и... кто его знает, почему еще. Тем временем гости съезжались. Барон Ф. во всей амуниции коронационной поры Франца I,\* гофрат Р., которого здесь титулуют *in qualitate* господином фон Р., с глухой супругой, и другие, не исключая и оборвыша И., подправляющего свой устарелый гардероб новомодными заплатами. Гости валят толпой, я беседую кое с кем из знакомых, все отвечают крайне лаконично. Я ничего не понимал... и занялся исключительно моей приятельницей Б. Я не видел, что женщины шушукались между собой на другом конце залы, что потом стали перешептываться и мужчины, что госпожа фон С. говорила с графом (все это рассказала мне впоследствии фрейлейн Б.), после чего граф направился ко мне и увлек меня в амбразуру окна.

«Вам ведь известны наши дикие нравы, — сказал он. — Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием. Я ни в коем случае не хотел бы...»

«Ваше превосходительство, — перебил я, — простите меня ради Бога; мне давно следовало догадаться самому, но, я знаю, вы извините мою опрометчивость... Я сразу же собрался откланяться, но злой гений удержал меня», — добавил я с улыбкой, отвешивая поклон. Граф сжал мне руки с горячностью, которой было сказано все. Я незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал в М. посмотреть с холма на

закат солнца, читая из моего любимого Гомера великолепную песнь о том, как Улисс был гостем радушного свинопаса.\* И все было отлично.

Возвращаюсь я вечером к ужину; в трактире осталось очень мало посетителей; они играли в кости на углу стола, откинув скатерть. Вдруг появляется добрейший Аделин, увидев меня, снимает шляпу, подходит ко мне и спрашивает шепотом: «У тебя была неприятность?» — «У меня?..» — говорю я. «Да как же, граф выставил тебя вон». — «Черт с ними, я рад был очутиться на свежем воздухе», — ответил я. «Хорошо, что ты так легко принимаешь это. Одно мне досадно: об этом уже толкуют повсюду». Тут только эта история задела меня за живое. Мне казалось, что все, кто приходил к столу и смотрел на меня, только потому на меня и смотрят. И я злился.

А уж сегодня, куда я ни пойду, всюду меня жалеют, завистники же мои, по слухам, торжествуют и говорят: «Вот до чего доводит заносчивость, когда люди кичатся своим ничтожным умишком и считают, что им все дозволено», — и тому подобный подлый вздор. От всего этого впору всадить себе в сердце нож. Что бы ни толковали о независимости, а хотел бы я видеть человека, который спокойно слушал бы, как бездельники, имея против него козырь, судачат о нем; если их болтовня пустая, тогда, конечно, можно пренебречь ею.

16 марта.

Все взялись меня бесить. Сегодня я встретил фрейлейн Б. на бульваре и не мог удержаться, чтобы не заговорить с ней, и как только мы немного отделились от общества, выразил ей мою обиду на тогдашнее ее поведение. «Ах, Вертер, — задумчивым тоном сказала она, — можно ли так истолковать мое замешательство, зная мою душу! Что я выстрадала из-за вас с той минуты, как вошла в залу! Я все предвидела и сотни раз порывалась предупредить вас. Я знала, что эти особы С. и Т. со своими мужьями скорее уедут, чем потерпят ваше общество; я знала, что граф не может ссориться с ними. А теперь сколько шуму!» — «Что вы, фрейлейн?» — спросил я, скрывая испуг, — мне вспомнилось все, о чем рассказывал третьего дня Аделин, и меня точно кипятком обдало в этот миг. «Чего мне это стоило!» — сказала добрая девушка, и слезы выступили у нее на глазах. Я не мог больше владеть собой, я готов был броситься к ее ногам. «Объяснитесь же!» — вскричал я. Слезы заструились у нее по щекам; я был вне себя; она отерла слезы, не скрывая их. «Вы ведь знаете мою тетушку, — заговорила она, — она была там, и какими же глазами смотрела она на происходящее! Вертер, вчера вечером и нынче утром мне пришлось вытерпеть целую проповедь из-за моего знакомства с вами, пришлось слушать, как вас порочат, унижают, и нельзя было по-настоящему вступить за вас».

Каждое слово, точно острый нож, вонзалось мне в сердце. Она не чувствовала, насколько милосерднее было бы скрыть все это от меня, а вдобавок еще присовокупила, что теперь сплетням не будет конца и определенного сорта люди будут торжествовать и злорадствовать, считая, что я по заслугам наказан за свою заносчивость, за презрение к ближним.

Ах, Вильгельм, каково было мне слушать эти слова, сказанные тоном искреннейшего участия! Я был подавлен, и до сих пор во мне кипит ярость. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь осмелился открыто бросить мне упрек, тогда я проткнул бы наглеца шпагой; вид крови успокоил бы меня. Ах, я сотни раз хватался за нож, чтобы облегчить душу; рассказывают, что существует такая благородная порода коней, которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы легче было дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят. Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу.

*24 марта.*

Я подал двору прошение об отставке и надеюсь получить ее, а вам придется простить мне, что я не испросил на то вашего дозволения. Я во что бы то ни стало хочу уехать и знаю наизусть все доводы, которые вы будете приводить, чтобы заставить меня остаться, а потому... как-нибудь поделикатнее сообщите это матушке! Я ничем не могу ей помочь, мне самому не сладко! Конечно, ей должно быть обидно, что блистательная карье-

ра сына, метившего со временем в тайные советники и посланники, так резко оборвалась и сверчок вернулся на свой шесток. *Делайте что хотите, придумывайте, при каких условиях мне можно и должно было остаться! Все равно я уйду. А чтобы вы знали, куда я направляюсь, сообщаю вам, что здесь находится князь\**, который весьма ценит мое общество; услышав о моем намерении, он пригласил меня провести в его владениях лучшую весеннюю пору. По его словам, я буду там предоставлен самому себе, и так как мы с ним до известной степени сходимся во взглядах, то я решил рискнуть и поехать к нему.

*19 апреля.*

*Post scriptum.*

Благодарю тебя за обе весточки. Я не отвечал на них и не отсылал своего письма, пока не пришла моя отставка; я боялся, что матушка обратится к министру и помешает моему намерению. Но теперь все кончено, отставка получена. Не стану рассказывать вам, как неохотно мне ее дали и что мне пишет министр, — вы опять ударились бы в ламентации. Наследный принц прислал мне на прощание двадцать пять дукатов с запиской, расстрогавшей меня до слез; таким образом, мне не нужно денег, о которых я на днях просил матушку.

*5 мая.*

Завтра я отсюда уезжаю, а так как родина моя находится в шести милях от проезжей дороги,

я хочу повидать родные места, вспомнить далекие дни блаженных мечтаний. Я войду в те самые ворота, через которые матушка выехала со мной, когда после смерти отца решила покинуть милый уютный уголок и запереться в своем несносном городе. Прощай, Вильгельм! Я буду сообщать тебе о моем путешествии.

9 мая.

Я совершил паломничество в родные края с благоговением истого пилигрима и при этом испытал самые неожиданные чувства. Подле большой липы, на расстоянии четверти часа от города по дороге в С. я велел остановиться, вышел и отправил почтовых лошадей, чтобы, идя пешком, вволю насладиться воспоминаниями. И вот я стоял под липой, которая в детстве была целью и пределом моих прогулок. Какая перемена! Тогда, в счастливом неведении, я рвался в незнакомый мне мир, где чаял найти столько пищи для сердца, столько радостей, насытить и умиротворить мою алчущую, мятежную душу. Теперь, мой друг, я возвратился из дальнего мира с тяжким бременем несбывшихся надежд и разрушенных намерений! Я видел перед собой горный кряж, столько раз бывший средоточием моих желаний. Когда-то я часами просиживал под липой и рвался туда, и жаждал слиться душой с лесами и долинами, являвшимися моим взорам в такой заманчивой дымке; а когда наступало время возвращаться домой, с какой неохотой покидал я излюбленное место!



Я направился к городу, приветствуя старые, издавна знакомые загородные павильоны; новые были мне противны, как и все прочие перемены, происшедшие с тех пор. Я вошел в ворота и сразу почувствовал себя дома. Милый друг, я не стану вдаваться в подробности; то, что было для меня пленительно, в рассказе выйдет скучным. Я решил поселиться на площади рядом с нашим прежним домом. Мимоходом я заметил, что школа, где муштровала нас славная старушка, превращена в мелочную лавочку. Мне припомнилось, сколько тревог, огорчений, недоумений и страхов пережил я в этой лачуге. На каждом шагу попадалось мне что-нибудь примечательное. Ни один паломник ко святым местам не встретит на своем пути столько священных воспоминаний, и душа его вряд ли проникнется таким благоговеющим трепетом.

Приведу один пример из тысячи: я прошел вниз по течению реки до знакомой усадьбы. Это был когда-то мой обычный путь; отсюда мы, мальчики, учились швырять в воду плоские камни так, чтобы они давали в воде побольше рикошетов. Мне живо припоминалось, как я, бывало, стоял и смотрел на реку, мысленно предвосхищая ее путь, рисуя себе всякие чудеса о тех краях, куда она течет, и хотя воображение мое быстро иссякало, я стремился все дальше, все дальше и, наконец, совсем терялся в созерцании невидимых далей.

Вот видишь ли, мой милый, так же ограничены в своем кругозоре и так же счастливы были

наши исполины-праотцы! Как простодушны их чувства и творения! Когда Улисс говорит о безбрежном море и беспредельной земле, это звучит так правдиво, человечно, искренне, наивно и таинственно. Что мне в том, если я ныне за любимым школьником могу повторить, что земля кругла? Человеку нужно немного земли, чтобы благоденствовать на ней, и еще меньше, чтобы покоиться в ней.

А теперь я водворился здесь в княжеском охотничьем замке. С хозяином его вполне можно ужиться: он человек искренний и простой. Только его окружают странные люди, я никак не могу понять их. Едва ли они жулики, но и на честных людей не похожи. Иногда они кажутся мне честными, однако верить им я все же не могу. Досадно мне еще, что князь часто говорит о предметах, о которых знает понаслышке или по книгам, и при этом смотрит на них с чужой точки зрения. Он и во мне ценит больше ум и дарования, чем сердце, хотя оно — единственная моя гордость, только оно источник всего, всей силы, всех радостей и страданий. Ведь то, что я знаю, узнать может всякий, а сердце такое лишь у меня.

25 мая.

У меня был один замысел, о котором я решил не писать вам, пока он не осуществится. Теперь уж все равно, раз из него ничего не вышло. Я хотел идти на войну; это была моя давняя мечта. Главным образом из-за этого я и поехал сюда с

князем, так как он генерал N-ской службы. Во время одной из прогулок он всячески разубеждал меня, и только в том случае, если бы это было страстное влечение, а не прихоть, мог бы я не внять его доводам.

*11 июля.*

Говори, что хочешь, а я не могу оставаться здесь дольше. Что мне делать у князя? Я начинаю скучать. Князь обходится со мной как нельзя лучше, и все же я не на своем месте. В сущности у нас нет ничего общего. Ему нельзя отказать в уме, но уме весьма заурядном; его общество занимает меня не больше, чем чтение умело написанной книги. Пробуду здесь еще неделю, а затем опять пушусь в странствия. Удачнее всего я занимался здесь рисованием. Князь чувствует искусство и чувствовал бы еще больше, если бы не замкнулся в кругу плоских научных понятий и самой избитой терминологии. Случается, я скрежещу зубами, когда со всем жаром воображения открываю ему природу и искусство, а он, думая блеснуть, вдруг изрекает какую-нибудь прописную истину!

*16 июля.*

Да, я только странник, только скиталец на земле! А чем вы лучше?

*18 июля.*

Куда я собрался? Откроюсь тебе по секрету. Еще две недели мне придется пробыть здесь, а

затем я надумал посетить п-ские рудники, но дело вовсе не в рудниках. Я хочу быть поближе к Лотте — вот и все. Я смеюсь над собственным сердцем... и потворствую ему.

29 июля.

Нет, все хорошо! Все хорошо!.. Мне быть ее мужем! О Господи, Боже мой, сотворивший меня, если бы ты даровал мне это счастье, вся жизнь моя была бы непрерывной молитвой. Я не ропщу, прости мне эти слезы, прости мне тщетные мечты! Ей быть моей женой! Если бы я заключил в свои объятия прекраснейшее создание на земле...

Я содрогаюсь всем телом, Вильгельм, когда Альберт обнимает ее стройный стан.

И сказать ли правду? А почему не сказать, Вильгельм? Со мной она была бы счастливей, чем с ним! Такой человек, как он, неспособен удовлетворить все запросы ее сердца. В нем нет чуткости... Как бы это объяснить? — Он не способен всем сердцем откликнуться, ну, скажем, на то место любимой книги, где наши с Лоттой сердца бьются согласно, и в сотне других случаев, когда нам приходится выражать свои чувства по поводу поведения третьего лица. Зато, милый Вильгельм, он любит ее всей душой, а такая любовь заслуживает всяческой награды!

Докучный посетитель прервал меня. Слезы мои высохли. Я отвлекся. Прощай, мой милый!

*4 августа.*

Это не только мой удел. Всем людям изменяют надежды, всех обманывают ожидания. Я навестил мою знакомую в домике под липой. Старший мальчуган выбежал мне навстречу; его радостный возглас привлек и мать. Она казалась подавленной, и первые слова ее были: «Вот горе-то, милый барин, мой Ганс помер!» Это был младший из детей. Я онемел. «А муж мой, — продолжала она, — воротился из Швейцарии ни с чем. Добрые люди помогли, а иначе ему пришлось бы побираться дорогой; и вернулся больной, в лихорадке». Я не знал, что сказать ей, и дал мальчику какую-то малость; она попросила меня принять в подарок несколько яблок, я взял их и покинул место печальных воспоминаний.

*21 августа.*

Во мне поминутно происходят какие-то перемены. Порой жизнь снова хочет улыбнуться мне, увы! лишь на миг! Когда я забудусь в мечтах, у меня против воли возникает мысль: что, если бы Альберт умер? Тогда бы я и она... И я гонюсь за этой химерой, пока она не приводит меня к безднам, от которых я отступаю с содроганием.

Я выхожу за город тем самым путем, по которому ехал впервые, чтобы везти Лотту на танцы, — как тогда все было по-иному! Все, все миновало! Ни намек на прежнее, ни тени тех чувств, которыми тогда билось мое сердце. То же должен испытывать дух умершего, возвращаясь

на развалины сгоревшего замка, который он, будучи владетельным князем в расцвете сил, воздвиг и украсил всеми дарами роскоши, а умирая, с упованием завещал своему любимому сыну.

3 сентября.

Порой мне непонятно, как *может* и *смеет* другой любить ее, когда я так безраздельно, так глубоко, так полно ее люблю, ничего не знаю, не ведаю и не имею, кроме нее!

4 сентября.

Да, ничего не поделаешь! Как природа клонится к осени, так и во мне и вокруг меня наступает осень. Листья мои блекнут, а с соседних деревьев листья уже облетели. Кажется, я писал тебе вскоре после приезда об одном крестьянском парне? Теперь я снова осведомился о нем в Вальхейме; мне ответили, что его прогнали с места и больше никто ничего не слышал о нем. Вчера я встретил его невзначай по дороге в другое село; я заговорил с ним, и он рассказал мне свою историю, которая особенно тронула меня, как ты без труда поймешь из моего пересказа. Впрочем, к чему это? Отчего не храню я про себя то, что меня мучит и оскорбляет? Зачем огорчаю тебя? Зачем постоянно даю тебе повод жалеть и бранить меня? Ну, все равно! Быть может, и это мой удел.

С тихой грустью, в которой чувствовалась некоторая робость, парень сперва только отвечал

на мои вопросы; но очень скоро, осмелев, как будто опомнившись и освоившись со мной, он покаялся мне в своих проступках и пожаловался на свои беды. Как бы мне хотелось, друг мой, представить на твой суд каждое его слово!

Он признался мне и даже, с увлечением упиваясь радостью воспоминаний, рассказал, что страсть его к хозяйке росла день ото дня, что под конец он не знал, что делает, что говорит, не знал, куда себя девать. Не мог ни есть, ни пить, ни спать; кусок застревал у него в горле; он делал не то, что надо; а что ему поручали, забывал сделать; как будто бес какой вселился в него; и вот однажды, зная, что она пошла на чердак, он пошел или, вернее, его потянуло за ней следом. Она не стала слушать его мольбы, тогда он решил силой овладеть ею; он сам не понимает, что с ним случилось, и призывает Бога в свидетели, что намерения его всегда были честные и ничего он так не желал, как обвенчаться с ней и прожить вместе весь век. Рассказав это, он вдруг стал запинаться, как будто хотел сказать еще что-то и боялся говорить начистоту; наконец он признался мне, все еще смущаясь, что она разрешала ему кое-какие вольности и допускала между ними некоторую близость. Он прерывал себя два-три раза и снова клялся и божился, что вовсе не хочет, как он выразился, очернить ее, он любит и уважает ее по-прежнему, и такие слова никогда не сошли бы у него с языка, если бы он не хотел мне доказать, что не совсем уж он выродок и сумасшедший.

И тут, любезный друг, я опять завожу свою старую песню, которую не устану твердить. Если бы я мог изобразить тебе этого парня таким, как он стоял передо мной, как стоит до сих пор! Если бы я мог найти настоящие слова, чтобы ты почувствовал, как трогает, как должна трогать меня его участь! Но довольно об этом! Ты знаешь мою собственную участь, знаешь меня самого и потому без труда поймешь, что именно влечет меня ко всем несчастным, а к этому в особенности.

Перечитывая письмо, я заметил, что забыл досказать конец моей истории; впрочем, он и так ясен. Хозяйка стала сопротивляться. На помощь подоспел ее брат, а тот давно уже выживал моего знакомого, боясь, как бы из-за вторичного замужества сестры от его детей не ускользнуло богатое наследство, на которое они рассчитывают, потому что сама она бездетна; братец прямо вытолкнул его из дома и так раззвонил об этом повсюду, что хозяйка, если бы и захотела, не могла бы взять его обратно. Теперь она наняла нового работника, из-за которого она, говорят, тоже ссорится с братом, и все в один голос твердят, что она решила выйти за него, — этого уж, говорит мой знакомец, он никак не потерпит.

Все, что я тебе рассказываю, ничуть не преувеличено и не смягчено, наоборот, по-моему, я ослабил, очень ослабил и огрубил рассказ, потому что излагал его языком общепринятой морали.

Значит, такая любовь, такая верность, такая страсть вовсе не поэтический вымысел; она



живет, она существует в нетронутой чистоте среди того класса людей, которых мы называем необразованными и грубыми. А мы от нашей образованности потеряли образ человеческий! Прошу тебя, читай мой рассказ с благоговением! Я сегодня весь как-то притих, записывая его; ты видишь по письму, что я не черкаю и не мараю, как обычно. Читай, дорогой мой, и думай, что такова же история твоего друга! Да, так было и так будет со мной, а у меня и вполнину нет мужества и решительности того бедного горемыки, с которым я даже не смею себя равнять.

*5 сентября.*

Она написала своему мужу записочку в деревню, где он находился по делам. Записка началась: «Дорогой, любимый, возвращайся как можно скорее! Жду тебя с несказанной радостью». Тут как раз явился один приятель и сообщил, что по некоторым причинам мужу придется задержаться. Записка не была отослана, а вечером попала мне в руки. Я прочел ее и улыбнулся; она спросила, чему я улыбаюсь. «Воображение — поистине дар богов! — вскричал я. — Я на миг вообразил, будто это написано мне». Она прервала разговор, он явно был ей неприятен, я замолчал тоже.

*6 сентября.*

Долго я не решался сбросить тот простой синий фрак, в котором впервые танцевал с Лот-

той; но под конец он стал совсем неприличным. Тогда я заказал новый, такой же точно, с такими же отворотами и обшлагами, и к нему опять желтые панталоны и жилет.

Все же он не так мне приятен. Не знаю... может быть, со временем я полюблю и его.

*12 сентября.*

Она уезжала на несколько дней за Альбертом. Сегодня я вошел к ней в комнату; она поднялась мне навстречу, и я с невыразимой радостью поцеловал ее руку. С зеркала вспорхнула и села к ней на плечо канарейка. «Новый друг! — сказала она и приманила птичку к себе на руку. — Я купила ее для моих малышей. Посмотрите, какая прелесть! Когда я даю ей хлеба, она машет крылышками и клюет очень послушно. И целует меня, смотрите!» Она подставила птичке губы, и та прильнула так нежно к милым устам, словно ощущала всю полноту счастья, которое было ей дано.

«Пусть поцелует и вас», — сказала она и протянула мне канарейку. Клювик проделал путь от ее губ к моим, и, когда он щипнул их, на меня повеяло предчувствием сладостного упоения.

«В ее поцелуе есть доля алчности, — заметил я. — Она ищет пропитания, и пустая ласка не удовлетворяет ее».

«Она ест у меня изо рта», — сказала Лотта и протянула ей несколько крошек, зажав их между губами, на которых сияла улыбка невинно-

участливой любви. Я отвернулся. Зачем она это делает? Зачем раздражает мое воображение картинами неземной чистоты и радости, зачем будит мое сердце ото сна, в который погружает его порой равнодушие к жизни? Впрочем, что я? Она так мне верит! Она знает, как я люблю ее!

*15 сентября.*

Меня бесит, Вильгельм, когда я вижу людей, не умеющих ценить и беречь то, что еще есть хорошего на земле. Ты, конечно, помнишь ореховые деревья, под которыми мы сидели с Лоттой и славного ш-ского пастора, великолепные ореховые деревья, всегда доставлявшие мне истинное наслаждение. Какой уют, какую прохладу давали они пасторской усадьбе, какие они были ветвистые! И сколько с ними связано воспоминаний о почтенных священнослужителях, посадивших их в давно минувшие годы! Школьный учитель слышал от своего деда и не раз поминал имя одного из них: прекрасный, говорят, был человек, и я свято чтил его память под сенью этих деревьев. Поверишь ли, учитель со слезами на глазах говорил вчера, что их срубили. Срубили! Я вне себя от бешенства! Я способен прикончить того мерзавца, который нанес им первый удар. Если бы у меня во дворе росли такие деревья и одно из них погибло от старости, я бы горевал всей душой, а чему мне теперь приходится быть свидетелем! Одно только отрадно, дорогой друг! Есть еще человеческие чувства! Все село ропщет,

и, надо надеяться, пасторша почувствует на масле, яйцах и прочих приношениях, какую рану нанесла она своему приходу. Ибо зачинщица всему она, жена нового пастора (наш старик уже умер). Хилое, хворое создание, имеющее веские причины относиться неприязненно к миру, потому что она-то никому не внушает приязни. Она глупа, а мнит себя ученой, говорит о пересмотре канона, ратует за новомодное морально-критическое преобразование христианства, пожимает плечами по поводу лафатеровских фантазий, а сама так больна, что не в состоянии радоваться Божьему миру. Только такая тварь и могла срубить мои ореховые деревья. Подумай, я никак не могу прийти в себя!.. От палых листьев у нее, видишь ли, грязно и сыро во дворе, деревья заслоняют ей свет, а когда поспевают орехи, мальчишки сбивают их камнями, и это действует ей на нервы, это мешает ее глубоким размышлениям, мешает взвешивать сравнительные достоинства Кенникота, Землера и Михаэлиса.\* Видя недовольство обитателей села, и в особенности стариков, я спросил их: «Как же вы это потерпели?» — «У нас, когда староста чего захочет, против его воли не пойдешь». А все-таки есть на свете справедливость! Пастору самому несладко приходится от жениных причуд, так он решил хоть извлечь из них прибыль и поделиться ею со старостой. Об этом проведала палата и заявила: «Руки прочь!» (она издавна предъявляла права на ту часть пасторской усадьбы, где стояли де-

ревья) — и продала их с торгов. И вот они лежат. Ах, будь я государем, я бы показал всем им — пасторше, старосте и палате... Государем! Да будь я государем, разве трогали б меня деревья в моей стране!

*10 октября.*

Едва я загляну в ее черные глаза, как мне уже хорошо. И понимаешь, что мне досадно, — Альберт, по-видимому, не так счастлив, как он... надеялся, а я... был бы счастлив, если бы... Я не люблю многоточий, но тут иначе выразиться не могу и выражаюсь, по-моему, достаточно понятно.

*12 октября.*

Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера. В какой мир вводит меня этот великан! Блуждать по равнине, когда кругом бушует буря и с клубами тумана при тусклом свете луны гонит души предков, слушать с гор сквозь рев лесного потока приглушенные стоны духов из темных пещер и горестные сетования девушки над четырьмя замшелыми, поросшими травой камнями, под которыми покоится павший герой, ее возлюбленный! И вот я вижу его, седого странствующего барда, он ищет на обширной равнине следы шагов своих предков, но, увы, находит лишь их могилы и, стеная, поднимает взор к милой вечерней звезде, что закатывается в бурное море, и в душе героя оживают минувшие времена, когда благосклон-

ный луч светил бесстрашным в опасности и месяц озарял их увитый цветами победоносный корабль; я читаю глубокую скорбь на его челе, я вижу, как, изнывая в одиночестве, бредет к могиле последний из великих, как впивает всё новые, мучительно-жгучие радости от бесплотного присутствия родных теней и, глядя на холодную землю, на высокую колышущуюся траву, восклицает: «Придет, придет тот странник, что знал меня в моей красе, и спросит он: где же певец, прекрасный сын Фингала? Шаг его попирает мою могилу, и тщетно меня он ищет на земле». И тут, о друг, мне хочется, подобно благородному оруженосцу, обнажить меч, разом освободить моего господина от мучительных судорог медленного умирания и собственную мою душу послать вслед освобожденному полубогу.

19 октября.

Ах, какая пустота, какая мучительная пустота у меня в груди! Часто мне кажется: если бы я мог хоть раз, один только раз прижать ее к сердцу, вся пустота была бы заполнена.

26 октября.

Да, мне ясно, дорогой мой, мне ясно и с каждым днем все яснее, что жизнь одного человека значит мало, почти ничего не значит. К Лотте пришла подруга, а я ушел в соседнюю комнату достать книгу, но читать не мог и взялся

за перо. Мне был слышен их тихий разговор; они рассказывали друг другу какие-то незначительные истории, городские новости; эта выходит замуж, та больна, очень больна. У нее сухой кашель, а лицо — кожа да кости, и с ней часто бывают обмороки. «Я за ее жизнь дорого не дам», — говорила гостья. «Н. Н. тоже плох», — заметила Лотта. «Он весь распух», — подхватила та. И мое пылкое воображение перенесло меня к постели страдальцев; я видел, с какой неохотой уходят они из жизни, как они... ах, Вильгельм!.. А мои дамочки говорили об этом, как обычно говорят о смерти постороннего. И когда я оглядываюсь и вижу эту комнату и повсюду кругом платья Лотты, и бумаги Альберта, и вещи, с которыми я так свыкся, даже с этой чернильницей, я говорю себе: «Что ты значишь для этого дома! Рассуди здраво. Друзья чтут тебя! Они видят от тебя немало радостей, и сам ты как будто не мог бы жить без них; и все же уйди ты, покинь их круг, ощутили бы они и надолго ли ощутили пустоту в своей жизни от разлуки с тобой? Надолго ли?» Ах, такова бренность человека, что даже там, где он по-настоящему утверждает свое бытие, где создается единственное верное впечатление от его присутствия, — в памяти и в душе его близких, даже и там суждено ему угаснуть, исчезнуть — и так быстро!



*Вертеръ Вотгавинъ.*

Гравюра немецкого графика, современника И. В. Гете Даниэля Ходовецки из цикла гравюр к книге «Страдания юного Вертера», 1778 г. Публикуется по изданию: Страсти молодого Вертера. Сочинения г. Гетте. М., 1816.



27 октября.

Часто мне хочется разодрать себе грудь и разmozжить голову оттого, что люди так мало способны дать друг другу. Увы, если во мне самом нет любви, радости, восторга и жара, другой не подарит мне их, и, будь мое сердце полно блаженства, я не сделаю счастливым того, кто стоит передо мной, бесчувственный и бессильный.

Вечером.

Мне так много дано, но чувство к ней поглощает все; мне так много дано, но без нее нет для меня ничего на свете.

30 октября.

Сотни раз был я готов броситься ей на шею. Один Бог ведает, легко ли видеть перед глазами столько прелести и не иметь права схватить ее. Ведь человек по природе своей захватчик! Хватают же дети все, что им вздумается? А я?

3 ноября.

Бог свидетель, как часто ложусь я в постель с желанием, а порой и с надеждой, никогда не проснуться; утром я открываю глаза, вижу солнце и впадаю в тоску. Хорошо бы обладать вздорным характером и сваливать вину на погоду, на третье лицо, на неудавшееся предприятие! Тогда несносное бремя досады тяготело бы на мне лишь вползину. А я, увы, слишком ясно понимаю, что

вся вина во мне самом — впрочем, какая там вина! Все равно, во мне самом источник всяческих мучений, как прежде был источник всяческого блаженства.

Ведь я все тот же, но раньше я упивался всей полнотой ощущений, на каждом шагу открывал рай и сердце имел достаточно вместительное, чтобы любовно объять целый мир. А теперь мое сердце умерло! Оно не источает больше восторгов, глаза мои сухи, чувства не омыты отрадными слезами, и потому тревожно хмурится чело. Я страдаю жестоко, ибо я утратил то, что было единственным блаженством моей жизни, исчезла священная животворящая сила, которая помогала мне созидать вокруг меня миры! Теперь я смотрю в окно и вижу, как солнце разрывает туман над дальними холмами и озаряет тихие долины, а мирная река, извиваясь, бежит ко мне между оголенными ивами, и что же? Эта дивная природа мертва для меня, точно прилизанная картинка; и вся окружающая красота не в силах перекачать у меня из сердца в мозг каплю воодушевления, и я стою перед лицом Божьим, точно иссякший колодезь, точно рассыпшаяся бадья! Сколько раз падал я ниц и молил Господа даровать мне слезы, как землешаец молит даровать дождь, когда небо так беспощадно, а земля истомилась от жажды. Но, увы! Я знаю, Бог дает дождь и ведро не по нашим исступленным мольбам, и недаром терзает меня память о тех блаженных временах, когда я терпеливо ждал, чтобы дух его снизошел на меня,

и всем признательным сердцем моим принимал благодать, изливаемую им на меня!

8 ноября.

Она укоряла меня за невоздержанность, но как же ласково и бережно! А невоздержанность моя в том, что я иногда соблазняюсь стаканом вина и выпью целую бутылку.

«Не делайте этого! — сказала она. Постарайтесь думать о Лотте!» — «Думать! Неужто вам надо приказывать мне это, — возразил я. — Думаю я или не думаю — все равно вы всегда стоите перед моим духовным взором. Сегодня я сидел на том месте, где вы недавно выходили из кареты...»

Она перевела разговор, чтобы прекратить мои излияния. Любезный друг, я погиб! Она вертит мною, как хочет!

15 ноября.

Благодарствую, Вильгельм, за сердечное участие, за доброжелательный совет и прошу лишь об одном — не тревожься! Дай мне перетерпеть! Как я ни измучен, у меня достанет силы выстоять. Я чту религию, ты знаешь это; я понимаю, что многим из тех, кто пал духом, она служит опорой, многим из тех, кто отчаялся, — утешением. Но может ли, должна ли она быть этим для каждого? Оглянись на мир, и ты увидишь, что тысячам людей религия, будь то католическая или протестантская, помощью не была и не будет —

так почему она должна помочь мне? Ведь говорит же Сын Божий, что те лишь пребудут с ним, кого дал ему Отец? А что, если я не дан ему? Что, если, как подсказывает мне сердце, Отец хочет меня оставить себе? Прошу тебя, не истолкуй этого ложно, не усмотри глумления в искренних словах моих! Ведь я раскрываю перед тобой всю душу; а иначе мне лучше было бы молчать, ибо я вообще неохотно говорю о том, что всякий знает не больше моего. Выстрадать всю положенную ему меру, испить всю чашу до дна — таков удел человека. И если Господу, сошедшему с небес, горька была чаша на человеческих его устах, зачем же мне проявлять гордыню и притворяться, будто для меня она сладка? И зачем мне стыдиться в тот страшный миг, когда все существо мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее, точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг гибнет, и мир рушится вместе со мной? И как же загнанному, обессиленному созданию, которое неудержимо катится вниз, не возопить из самых недр тщетно рвущихся на волю сил: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег тот, кто свивает небо, как свиток?

21 ноября.

Она не видит, не понимает, что сама готовит смертельную отраву для меня и для себя: и я с

упоеанием пью до дна кубок, который она протягивает мне на мою погибель. Отчего она часто... часто ли?.. Пусть не часто, но иногда смотрит на меня приветливым взглядом, отчего так благосклонно принимает невольные проявления моего чувства, отчего на лице ее написано сострадание к моим мукам?

Вчера она, прощаясь, протянула мне руку и сказала: «До свидания, милый Вертер!» Милый Вертер! В первый раз назвала она меня милым, и я затрепетал. Сотни раз повторял я про себя эти слова, а вечером, ложась спать и болтая всякую всячину сам с собой, сказал внезапно: «Покойной ночи, милый Вертер!» — и даже сам потом посмеялся над собой.

22 ноября.

Я не могу молиться: «Оставь мне ее!» — хоть мне и кажется часто, что она моя. Я не могу молиться: «Дай мне ее!» — она принадлежит другому. Я мудрствую над своими страданиями; если бы я не обуздывал себя, сравнениям и сопоставлениям не было бы конца.

24 ноября.

Она чувствует, как я страдаю. Сегодня взгляд ее проник мне глубоко в сердце. Я застал ее одну; я не говорил ни слова, а она смотрела на меня. И я видел уже не пленительную красоту ее, не сияние светлого ума; все это исчезло для меня. Я был заморожен куда более прекрасным взглядом, ис-

полненным сердечного участия, нежнейшего сострадания. Почему нельзя мне было упасть к ее ногам? Почему нельзя было броситься ей на шею и ответить градом поцелуев? Она нашла себе прибежище у фортепьяно и заиграла, напевая нежным голосом, тихим, как вздох. Никогда еще не были так пленительны ее губы; казалось, они, приоткрываясь, жадно впивают сладостные звуки инструмента и лишь нежнейший отголосок слетает с этих чистых уст. Ах, разве можно выразить это! Я не устоял; склонившись, дал я клятву: «Никогда не дерзну я поцеловать вас, уста, осененные небесными духами!» И все же... понимаешь ты, передо мной точно какая-то грань... Мне надо ее перешагнуть... вкусить блаженство... А потом, после падения, искупить грех! Полно, грех ли?

26 ноября.

Порой я говорю себе: «Твоя участь беспрецедентна!» — и называю других счастливыми. Еще никто не терпел таких мучений! Потому начну читать поэта древности,\* и мне чудится, будто я заглядываю в собственное сердце. Как я страдаю! Ах, неужто люди бывали так же несчастливы до меня?

30 ноября.

Нет, нет, мне не суждено прийти в себя. На каждом шагу я сталкиваюсь с явлениями, которые выводят меня из равновесия. И сегодня! О рок! О люди!

Я шел по берегу; время было обеденное, но есть мне не хотелось. Кругом ни души, сырой вечерний ветер дул с гор, и серые дождевые тучи заволакивали долину. Издалека завидел я человека в поношенном зеленом платье: он карабкался по скалам и, должно быть, искал целебные травы. Когда я подошел ближе и он обернулся на шум моих шагов, я увидел выразительное, открытое и простодушное лицо, главную черту которого составляла покорная печаль; черные волосы его были заколоты в две букли, а сзади заплетены в толстую косицу, свисавшую на спину. Судя по одежде, это был человек низкого звания, и я решил, что он не обидится, если я поинтересуюсь его занятием, а потому спросил его, что он ищет. «Я ищу цветы, — отвечал он с глубоким вздохом. — Только нет их нигде». — «Да, время года неподходящее», — заметил я, улыбнувшись. «Их много, всяких цветов, — сказал он, спускаясь ко мне. — У меня в саду цветут розы и жимолость двух сортов; одну подарил мне отец, она растет, как сорная трава; второй день ищу ее и не могу найти. Тут на воле всегда водятся цветы: желтые, голубые, красные, а у полевой гвоздички такие красивые цветики. Только вот найти ни одного не могу». Я почуял что-то неладное и спросил осторожно: «А на что вам цветы?» Лицо его передернулось странной, судорожной усмешкой. «Смотрите только не выдайте меня, — сказал он, прикладывая палец губам. — Я обещал букет моей милой». — «Дело хорошее», —

заметил я. «Ну — у нее и без того всего много, она богата», — пояснил он. «И все-таки ей дорог ваш букет!» — подхватил я. «У нее и драгоценные камни и корона есть», — продолжал он. «Как же ее зовут?» — «Вот если бы генеральные штаты заплатили мне,\* — перебил он, — я бы зажил по-другому. Да, были и у меня хорошие времена! А теперь что я? Пропавший человек! Теперь мне...» Поднятый к небесам увлажненный взгляд был достаточно красноречив. «Значит, прежде вы были счастливы?» — спросил я. «Лучшего счастья мне не надо! — ответил он. — Я жил, как рыба в воде, привольно, весело, легко!»

На дороге показалась старуха. «Генрих! — крикнула она. — Генрих, где ты запропастился? Мы тебя ищем, ищем! Иди обедать!» — «Это ваш сын?» — спросил я, подходя к ней. «Да, батюшка, мой горемычный сын! — ответила она. — Тяжкий крест послал мне Господь». — «Давно он такой?» — спросил я. «Такой он с полгода. Слава Богу, стал тихим, а то год буйным был: его держали связанным в сумасшедшем доме; теперь он никому зла не причиняет — все толкует про королей да государей. А какой был хороший, скромный человек! Он красиво писал, бумаги переписывал и мне помогал кормиться; а потом вдруг загрустил, заболел горячкой, впал в буйство, а теперь видите, какой стал... Знали бы вы, батюшка...» Я остановил поток ее красноречия вопросом: «А что это были за времена, когда



он, по его словам, жил так счастливо и привольно?» — «Вот глупенький-то! — воскликнула она с жалостливой улыбкой. — Это он хвалит те времена, когда был без памяти, сидел в сумасшедшем доме и себя не помнил». Ее слова меня как громом поразили, я сунул ей монету и поспешил уйти.

«Вот когда ты был счастлив, — восклицал я, торопливо шагая по направлению к городу, — вот когда жил привольно, как рыба в воде! Боже правый! Неужто ты судил счастье только не вошедшим в разум или вновь утратившим его! Бедняга, а я-то как завидую твоему безумию и губительному помрачению чувств! Ты бродишь зимой с надеждой нарвать букет твоей королеве! И горюешь, что не нашел цветов, и не понимаешь, почему ты их не нашел. А я — я брожу без надежды и без цели и ни с чем возвращаюсь домой. Ты мечтаешь, как бы ты зажил, если бы генеральные штаты заплатили тебе. Счастлив ты, что можешь приписать свое злосчастье земным препонам! Ты не чувствуешь, не понимаешь, что в твоём сокрушенном сердце, в твоём смятённом уме — причина всех горестей, и ни один король на свете не поможет тебе.

Будь проклят тот, кто посмеется над страдальцем, устремляющимся к отдалённому источнику, который лишь усугубит его болезнь и делает мучительнее последние часы; будь проклят тот, кто возгордится перед несчастным, совершающим паломничество ко Гробу Господню, чтобы

спастись от угрызений совести и утишить сердечную скорбь! Каждый шаг, который ранит ноги на непроторенной тропе, проливает каплю утешения в измученную душу, и после каждого трудного дня пути куда легче спится ночью. А вы, суесловы, смеете, нежась на перинах, называть это безумием! Безумие! О Господи! Ты видишь мои слезы! Зачем же ты, и без того сотворивший человека нищим, дал ему еще братьев, отнимающих у него последние крохи, последнее упование, которое он полагает на тебя, на тебя, Вселюбящий. Ибо, уповая на целебный корень, на сок винограда, мы уповаем на тебя, на то, что все нас окружающее ты наделил целебной и благотворной силой, в которой мы нуждаемся ежечасно. Отец мой, неведомый мне! Отец, раньше заполнявший всю мою душу и ныне отвративший от меня свой лик! призиви меня к себе! Нарушь молчание. Молчанием своим ты не остановишь меня. Какой бы человек, какой отец стал бы гневаться, если бы к нему неожиданно воротился сын и бросился ему на грудь, восклицая: «Я вернулся, Отец мой! Не гневайся, что я прервал странствие, которое по воле твоей мне надлежало претерпеть дольше! Повсюду в мире все едино: страда и труд, награда и радость. Но что мне в них? Мне хорошо лишь там, где ты, и пред лицом твоим хочу я страдать и наслаждаться». Неужели же ты, Всеблагий небесный Отец наш, отверг бы сына своего?

1 декабря.

Вильгельм! Человек, о котором я писал тебе, тот счастливый несчастливец, служил писцом у отца Лотты, и любовь к ней, которую он питал, таил, но не мог скрыть, за что и был уволен, свела его с ума. Почувствуй из этих сухих слов, как меня потрясла его история, когда Альберт рассказал мне ее так же равнодушно, как, возможно, ты будешь читать о ней.

4 декабря.

Послушай, пойми меня, я погибший человек, я не в силах более терпеть! Сегодня я сидел у нее... я сидел, а она играла на фортепьяно разные мелодии, и в игре ее была вся глубина чувства! Вся, вся! Как это передать? Сестренка ее наряжала куклу на моем колене. У меня в глазах стояли слезы. Я нагнулся и увидел ее обручальное кольцо. Слезы брызнули из глаз моих. И сразу же она перешла на ту знакомую, старую мелодию, полную неземной нежности, и в душу мне пахло покоем и вспомнилось прошедшее, те дни, когда я впервые услышал эту песню, а дальше началась мрачная полоса тоски, разбитых надежд, и потом... Я вскочил и зашагал по комнате. Я задыхался от нахлынувших чувств. «Ради Бога! — вскричал я, в бурном порыве бросаясь к ней. — Ради Бога, перестаньте!» Она остановилась и пристально посмотрела на меня. «Вертер! — сказала она с улыбкой, проникшей мне в

душу. — Вертер, вы очень больны; даже самые любимые блюда противны вам. Уходите! И, прошу вас, успокойтесь!» Я оторвался от нее и... Господи! Ты видишь мою муку, ты положишь ей конец.

*6 декабря.*

Ах, этот образ, он преследует меня! Во сне и наяву теснится он в мою душу! Едва я сомкну веки, как тут, вот тут под черепом, где сосредоточено внутреннее зрение, встают передо мной ее черные глаза. Как бы это объяснить тебе? Только я закрою глаза — они уже тут! Как море, как бездна, открываются они передо мной, во мне, заполняют все мои чувства, весь мозг.

Чего стоит человек, этот хваленый полубог! Именно там, где силы всего нужнее ему, они ему изменяют. И если он окрылен восторгом или погружен в скорбь, что-то останавливает его и возвращает к трезвому, холодному сознанию именно в тот миг, когда он мечтал раствориться в бесконечности.

*От издателя к читателю*

Как искренне желал я, чтобы о последних знаменательных днях жизни нашего друга сохранилось достаточно его собственных свидетельств и мне не потребовалось бы перемежать рассказом оставленные им письма.

Я почел своим долгом подробно расспросить тех, кто мог быть точно осведомлен об его истории; история эта очень проста, и рассказчики согласны между собой во всем, кроме отдельных мелочей; только относительно характеров действующих лиц мнения расходятся и оценки различны.

Нам остается лишь добросовестно пересказать все, что возможно было узнать путем сугубых стараний, присовокупить письма, оставленные усопшим, не пренебрегая ни малейшей из найденных записочек и памятуя о том, как трудно вскрыть истинные причины каждого поступка, когда речь идет о людях незаурядных.

Тоска и досада все глубже укоренялись в душе Вертера и, переплетаясь между собой, мало-помалу завладели всем его существом. Душевное равновесие его было окончательно нарушено. Лихорадочное возбуждение потрясло весь его организм и оказывало на него губительное действие, доводя до полного изнеможения, с которым он боролся еще отчаяннее, чем со всеми прежними напастьями. Сердечная тревога подтачивала все прочие духовные его силы: живость, остроту ума; он стал несносен в обществе, несчастье делало его тем несправедливее, чем несчастнее он был. Так, по крайней мере, говорят приятели Альберта: они утверждают, что Вертер неправильно судил поведение этого порядочного и положительного человека, достигшего долгожданного счастья и желавшего сохранить это

счастье на будущее, тогда как сам Вертер в один день поглощал все, что ему было дано, и к вечеру оставался ни с чем. Альберт, говорят его приятели, ничуть не переменялся за такой короткий срок, он был все тем же, каким с самого начала знал его, ценил и уважал Вертер. Он превыше всего любил Лотту, гордился ею и хотел, чтобы все почитали ее прекраснейшим созданием на земле. Можно ли осудить его за то, что ему нестерпима была и тень подозрения, что он не желал ни на миг и ни с кем, даже в самом невинном смысле, делить свое бесценное сокровище? Правда, приятели признают, что он часто покидал комнату жены, когда Вертер сидел у нее, но отнюдь не по злобе и не из ненависти к другу, а потому, что чувствовал, как тягостно тому его присутствие.

Отец Лотты захворал и не мог выходить из дому; он послал за Лоттой экипаж, и она поехала к нему. Стоял прекрасный зимний день, первый снег толстым слоем покрывал всю местность.

Вертер на следующее утро отправился туда же, чтобы проводить Лотту домой, если Альберт не приедет за ней.

Ясная погода не могла развеселить его, тяжкий гнет лежал на его душе. Он приучился видеть только мрачные картины, и мысли его были одна беспросветнее другой.

Сам он был вечно не в ладу с собою и у других видел только беспокойство и разлад, он боялся, что нарушил доброе согласие между Аль-

бертом и его женой, корил себя за это, но втайне возмущался мужем.

Дорогой мысли его вернулись к этому предмету. «Нет, — повторял он про себя с затаенной яростью, — какое там сердечное, ласковое, любовное, участливое отношение, какая там невозмутимая, нерушимая верность! Пресыщение и равнодушие — вот оно что! Всякое ничтожное дело привлекает его больше, чем милая, прелестная жена. Разве он ценит свое счастье? Разве чтит ее, как она того заслуживает? Она принадлежит ему, ну да, принадлежит... я это знаю, как многое другое; хоть я и свикся как будто с этим сознанием, оно еще сведет меня с ума, оно доконает меня. А разве дружба ко мне выдержала испытание? Нет, в самой моей привязанности к Лотте он видит посягательство на свои права, в моем внимании к ней усматривает безмолвный укор. Я чувствую, я знаю достоверно, ему неприятно меня видеть, он хочет, чтобы я уехал, мое присутствие тяготит его».

Не раз Вертер замедлял свой стремительный шаг, не раз останавливался и, казалось, думал повернуть назад, но тем не менее продолжал путь и так, размышляя и разговаривая сам с собой, как бы помимо воли добрался до охотничьего дома.

Он вошел, осведомился о старике и Лотте, заметил волнение в доме. Старший мальчик сказал ему, что в селении, в Вальхейме, случилось несчастье: убили одного крестьянина! Это извес-

тие не привлекло его внимания. Он вошел в комнату и застал Лотту в разгаре спора с отцом: старик желал, невзирая на болезнь, самолично отправиться на место преступления. Преступник еще не был обнаружен, убитого нашли утром на пороге дома, имелись кое-какие подозрения: покойный служил в работниках у одной вдовы, которая держала раньше другого работника и не добром рассталась с ним.

Услышав эти слова, Вертер стремительно вскочил. «Быть не может! — воскликнул он. — Я сейчас же, сию минуту бегу туда». Он поспешил в Вальхейм, воспоминания оживали перед ним, он ни минуты не сомневался, что убийство совершил тот самый парень, который не раз беседовал с ним и так стал ему близок.

Ему пришлось пройти под липами, чтобы добраться до харчевни, куда отнесли тело, и вид любимого уголка на этот раз ужаснул его. Порог, где так часто играли соседские дети, был запачкан кровью. Любовь и верность — лучшие человеческие чувства — привели к насилию и убийству. Могучие деревья стояли оголенные и заиндевевшие, с пышной живой изгороди, поднимавшейся над низенькой церковной оградой, облетела листва, и сквозь сучья виднелись покрытые снегом могильные плиты.

Едва он подошел к харчевне, перед которой собралось все село, как поднялся шум. Издалека показалась кучка вооруженных людей, и в толпе закричали, что ведут убийцу. Вертер стал смот-



реть вместе со всеми и убедился в своей правоте. Убийца был тот самый работник, который так любил свою хозяйку-вдову. Бедный малый бродил по окрестностям с затаенной злобой и тихим отчаянием и еще недавно повстречался ему.

«Что ты сделал, несчастный!» — крикнул Вертер, бросаясь к арестованному. Тот посмотрел на него задумчиво, помолчал и наконец отчеканил невозмутимым тоном:

«Не бывать ей ни с кем и с ней никому не бывать!» Его ввели в харчевню, а Вертер поспешил прочь.

Это страшное, жестокое впечатление произвело в нем полный переворот, на миг стряхнуло с него грусть, уныние, тупую покорность. Жалость властно захватила его, ему во что бы то ни стало хотелось спасти того человека. Он так понимал всю глубину его страдания, так искренне оправдывал его даже в убийстве, так входил в его положение, что твердо рассчитывал внушить свои чувства и другим. Ему не терпелось встать на защиту несчастного, пламенные речи просились с его губ, он спешил в охотничий дом и по дороге уже приводил вполголоса все те доводы, с которыми выступит перед амтманом.

Войдя в комнату, он застал там Альберта и на миг растерялся, но вскоре снова овладел собой и поспешил изложить амтману свое мнение. Хотя Вертер с величайшей искренностью, горячностью и страстностью говорил все то, что может сказать человек в оправдание человека, старик покачивал

головой, как и следовало ожидать, ничуть не тронутый его словами. Наоборот, он прервал нашего приятеля, стал резко возражать ему и порицать за то, что он берет под защиту убийцу. Затем заявил, что таким путем недолго упразднить все законы и подорвать устои государства, и в заключение добавил, что не может взять на себя ответственность в подобном деле, а должен дать ему надлежащий, законный ход.

Вертер все еще не сдавался, он просил, чтобы амтман хотя бы посмотрел сквозь пальцы, если арестованному помогут бежать. Амтман не согласился и на это. Наконец в разговор вмешался Альберт и тоже стал на сторону старика. Вертер оказался в меньшинстве и глубоко удрученный отправился домой, после того как амтман несколько раз повторил: «Ему нет спасения!»

Как сильно он был потрясен этими словами, видно из записочки, найденной среди его бумаг и относящейся, очевидно, к тому же дню:

«Тебе нет спасения, несчастный! Я вижу, что нам нет спасения».

Все, что Альберт напоследок в присутствии амтмана говорил о деле арестованного, до крайности возмутило Вертера: ему почудился в этом выпад против него самого, и хотя по зрелом размышлении он разумом понял, что оба его собеседника правы, у него все же было такое чувство, что, допустив и признав их правоту, он отречется от своей внутренней сущности.

Среди бумаг его мы нашли записку, которая касается этого вопроса и, пожалуй, исчерпывающе выражает его отношение к Альберту:

«Сколько бы я ни говорил и ни повторял себе, какой он честный и добрый, ничего не поделаешь — он претит моей душе; я не могу быть справедливым».

---

Вечер был теплый, начало таять, и потому Лотта с Альбертом отправились домой пешком. Дорогой она то и дело оглядывалась, как будто искала Вертера. Альберт заговорил о нем, порицая его и все же отдавая должное его достоинствам. Попутно он коснулся его несчастной страсти и заметил, что хорошо было бы удалить его.

— Я желаю этого также ради нас с тобой, — сказал он, — и прошу тебя, постарайся изменить характер его отношений к тебе, не поощряй его частых визитов. Это бросается в глаза. Я знаю, что уже пошли пересуды.

Лотта промолчала; Альберта, по-видимому, задело ее молчание, во всяком случае, он с тех пор не упоминал при ней о Вертере, когда же упоминала она сама, он либо обрывал разговор, либо переводил его на другую тему.

Безуспешная попытка спасти несчастного была последней вспышкой угасающего огня; с тех пор Вертер еще глубже погрузился в тоску и бездействие и чуть не дошел до исступления, когда услышал, что его думают вызвать свидетелем.

лем против обвиняемого, который решил теперь все отрицать.

Он мысленно перебирал свои промахи на служебном поприще, припомнил и неприятность, постигшую его, когда он состоял при посольстве, и все, в чем он когда-нибудь не успел, чем был обижен. Во всем этом он находил оправдание своей праздности, не видел для себя никакого исхода, считал себя неспособным к повседневным житейским трудам, и так, отдавшись этому своеобразному течению мыслей и своей всепоглощающей страсти, проводя время в монотонном и безрадостном общении с милой и любимой женщиной, тревожа ее покой, разрушая свои собственные силы, без смысла и надежды растрачивая их, он неудержимо приближался к печальному концу.

О его смятении и муках, о том, как, не зная покоя, метался он из стороны в сторону, как опостылела ему жизнь, красноречиво свидетельствуют несколько оставшихся после него писем, которые мы решили привести здесь.

*12 декабря.*

Дорогой Вильгельм, я сейчас уподобился тем несчастным, о которых говорили, что они одержимы злым духом. Временами что-то находит на меня: не тоска, не страсть, а что-то непонятное бушует внутри, грозит разорвать грудь, перехватывает дыхание! Горе мне, горе! В такие минуты я отправляюсь бродить посреди жуткого в эту неприветную пору ночного ландшафта.

Вчера вечером меня потянуло из дому. Внезапно наступила оттепель, мне сказали, что река вышла из берегов, все ручьи вздулись и затопили милую мою долину вплоть до Вальхейма. Ночью, после одиннадцати, побежал я туда. Страшно смотреть сверху с утеса, как бурлят при лунном свете стремительные потоки, заливая все вокруг: рощи, поля и луга, и вся обширная долина — сплошное море, бушующее под рев ветра! А когда луна выплывала из черных туч и передо мной грозно и величаво сверкал и гремел бурный поток, тогда я весь трепетал и рвался куда-то! Стоя над пропастью, я простирал руки, и меня влекло вниз! Вниз! Ах, какое блаженство сбросить туда вниз мои муки, мои страдания! Умчаться вместе с волнами! Увы! Я не мог сдвинуться с места, не мог покончить разом со всеми муками! Я чувствую, срок мой еще не вышел! Ах, Вильгельм! Я без раздумья отдал бы свое бытие за то, чтобы вместе с ветром разгонять тучи, обуздывать водные потоки. О, неужто узнику когда-нибудь выпадет в удел это блаженство?

С какой грустью смотрел я вниз, отыскивая глазами местечко под ивой, где мы с Лоттой после прогулки отдыхали от зноя; я едва узнал иву, все кругом тоже было затоплено, Вильгельм! «А луга и все окрестности охотничьего дома! Как, должно быть, пострадала от этого потопа наша беседка!» — думал я. И прошлое солнечным лучом согрело мне душу, как пленника — сон о стадах, лугах и почестях! А я все стоял! Я

не браню себя, у меня достанет мужества умереть. Но лучше бы... И вот я сижу, как старая нищенка, которая собирает щепки под заборами и выпрашивает корки хлеба у дверей, чтобы хоть немного продлить и скрасить свое жалкое, безрадостное существование.

14 декабря.

Друг мой, что же это такое? Я боюсь самого себя. Неужто любовь моя к ней не была всегда благоговейнейшей, чистейшей братской любовью? Неужели в душе моей таились преступные желания! Не смею отрицать... К тому же эти сны! О, как правы были люди, когда приписывали внутренние противоречия влиянию враждебных сил! Сегодня ночью — страшно сознаться — я держал ее в объятиях, прижимал к своей груди и осыпал поцелуями ее губы, лепетавшие слова любви, взор мой тонул в ее затуманенном негой взоре! Господи! Неужто я преступен оттого, что для меня блаженство — вновь со всей полнотой переживать те жгучие радости? Лотта! Лотта! Я погибший человек! Ум мой мутится, уже неделю я сам не свой, глаза полны слез. Мне повсюду одинаково плохо и одинаково хорошо. Я ничего не хочу, ничего не прошу. Мне лучше уйти совсем.

---

Решение покинуть мир все сильнее укреплялось в душе Вертера в ту пору, чему способствовали и обстоятельства. С самого возвращения к

Лотте это было последним его прибежищем, последней надеждой; однако он дал себе слово, что это не будет шальной и необдуманной шаг, он совершит его с ясным сознанием, с твердой и спокойной решимостью.

Его сомнения, его внутренняя борьба раскрываются в записи без числа, составлявшей, по-видимому, начало письма к Вильгельму и найденной среди его бумаг.

---

«Ее присутствие, ее участь, ее сострадание к моей участи только и могут еще исторгнуть слезы из моего испепеленного сердца.

Поднять завесу и скрыться за ней! Вот и все! К чему же мешкать и колебаться? Потому что мы не знаем, каково там, позади? И потому, что возврата оттуда нет? И еще потому, что нам свойственно предполагать хаос и тьму там, где все для нас неизвестность».

---

Мало-помалу он освоился и сроднился с печальной мыслью, и намерение его утвердилось бесповоротно, о чем свидетельствует нижеследующее двусмысленное письмо его к другу.

*20 декабря.*

Только твое любящее сердце, Вильгельм, могло так откликнуться на мои слова. Да, ты прав: мне лучше уйти. Предложение твое возвра-

тяться к вам не совсем улыбаются мне; во всяком случае я намерен сделать небольшой крюк, тем более что мы ожидаем длительных морозов и хороших дорог. Мне очень приятно, что ты собираешься приехать за мной; повремени только недельки две и дождись письма с дальнейшими моими планами. Нельзя срывать плод, пока он не созрел. А за две недели многое решится. Матушке моей передай, чтобы молилась за своего сына и простила все огорчения, какие я причинил ей. Такова уж моя доля — огорчать тех, кому я обязан дарить радость. Прощай, бесценный друг! Да будет с тобою благословение Господне! Прощай!

---

Что происходило тем временем в душе Лотты, каковы были ее чувства к мужу и к несчастному ее другу, этого мы не дерзаем передать словами, но, зная ее натуру, можем многое понять, а чистая женская душа, заглянув в ее душу, пособолезнует ей.

Известно одно — она приняла твердое решение сделать все возможное, чтобы удалить Вертера, и медлила, лишь щадя его из сердечного дружеского участия, ибо знала, какой это будет для него тяжкой, почти что невыполнимой жертвой. Однако обстоятельства все настойчивее требовали от нее решительных действий; правда, муж брал пример с нее и не затрагивал этого вопроса, но тем важнее было ей на деле доказать, что своими помыслами она достойна его.



В тот самый день, когда Вертер написал только что приведенное письмо к другу, в воскресенье перед рождеством, он вечером пошел к Лотте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, которые приготовила к празднику своим младшим братьям и сестрам. Он заговорил о том, как обрадуются малыши, и припомнил те времена, когда неожиданно распахнутые двери и зрелище нарядной елки с восковыми свечами, сладостями и яблоками приводили его в невыразимый восторг.

— Вы тоже получите подарочек, если будете умницей, — сказала Лотта, скрывая свое замешательство под милой улыбкой. — Вам достанется витая свечка и еще кое-что.

— А что, по-вашему, значит быть умницей? — вскричал он. — Лотта, дорогая! Каким мне быть, как себя вести?

— В четверг вечером — сочельник, придут дети и отец тоже, и каждый получит свое. Приходите и вы тогда, не раньше. (Вертер опешил). Прошу вас, послушайте меня, — продолжала она, — иначе нельзя, пощадите мой покой, так не может, не может продолжаться.

Он отвел от нее взгляд и зашагал по комнате, повторяя сквозь зубы: «Так не может продолжаться!» Лотта почувствовала, в какое ужасное состояние привели его сказанные ею слова, и пыталась отвлечь его посторонними вопросами, но тщетно.

— Нет, Лотта, — вскричал он, — больше я вас не увижу!

— Да почему это? — запротестовала она. — Вы можете и должны видаться с нами, Вертер, только будьте благоразумны. Ах, зачем вы родились таким порывистым, зачем так страстно и упорно увлекаетесь всем, за что бы ни брались? Прошу вас, — повторила она, взяв его за руку, — будьте благоразумны! Сколько разнообразных наслаждений дарят вам ваши знания, ваши способности, ваш ум! Будьте же мужчиной! Отрешитесь от своей несчастной привязанности к той, кто может лишь жалеть вас. Он заскрежетал зубами и мрачно посмотрел на нее. Она продолжала, не отпуская его руки: — На одно мгновение отрезвитесь, Вертер. Разве вы не чувствуете, что сами себя обманываете и умышленно ведете к гибели? На что вам я, Вертер, именно я, собственность другого? На что вам это? Ох, боюсь я, боюсь, не потому ли так сильно ваше желание, что я для вас недоступна?

Он выдернул свою руку и устремил на нее негодующий взгляд.

— Умно, — произнес он, — очень умно! Это, должно быть, мнение Альберта? Тонко! Очень тонко!

— Так всякий бы рассудил, — ответила она. — Неужто во всем мире не найдется девушки вам по сердцу? Превозможите себя, поищите и, клянусь вам, вы ее найдете; меня уже давно пугает и за вас да и за нас то, что вы в последнее

время замкнулись в таком тесном кругу. Прошу вас, перевозмогите же себя. Путешествие непременно рассеет вас! Поищите, найдите предмет, достойный вашей любви, а тогда возвращайтесь, и мы будем вместе наслаждаться благами истинной дружбы.

— Это стоило бы напечатать, — заметил он с холодной усмешкой, — и рекомендовать всем гувернерам. Милая Лотта! Потерпите еще немножко, не трогайте меня, и все образуется!

— С одним условием, Вертер! Вы придете не раньше сочельника!

Он не успел ответить, как вошел Альберт. Они холодно поздоровались и принялись в смущении шагать взад и вперед по комнате. Вертер попытался завести незначительный разговор, но безуспешно. Альберт сделал ту же попытку, затем спросил жену о каких-то поручениях и, услышав, что они еще не выполнены, ответил ей, как показалось Вертеру, холодно и даже резко. Вертер хотел уйти и не решался, мешкал до восьми часов, меж тем как его досада и злоба все возрастали; наконец, когда был накрыт ужин, он взялся за трость и шляпу. Альберт пригласил его остаться, но он усмотрел в этом пустую любезность, холодно поблагодарил и удалился.

Вернувшись домой, он взял свечу из рук слуги, который хотел посветить ему, один вошел в комнату и громко зарыдал; потом гневно говорил сам с собой, метался из угла в угол и, наконец, бросился одетый на кровать, где и нашел его

слуга, когда около одиннадцати отважился войти и спросить, не сняты ли с барина сапоги. На это он согласился, но запретил слуге входить завтра в комнату, пока он не позовет.

Утром, в понедельник, двадцать первого декабря он написал Лотте нижеследующее письмо, после его смерти найденное запечатанным у него на письменном столе и врученное ей; оно писалось с перерывами, что явствует из самих обстоятельств, и я тоже помещаю его здесь по частям.

---

«Лотта, все решено, я должен умереть, и пишу тебе об этом спокойно, без романтической экзальтации в утро того дня, когда последний раз увижу тебя. В то время, как ты, любимая, будешь читать эти строки, холодная могила уже укроет бранные останки мятущегося мученика, которому в последние мгновения жизни нет большей радости, как беседовать с тобой. Я провел страшную и, увы, благодетельную ночь. За эту ночь окрепло и определилось мое решение — умереть! Вчера, когда я оторвался от тебя, когда все чувства мои были возмущены, все разом прихлынуло к сердцу, и от безнадежного, безрадостного моего прозябания подле тебя на меня повеяло смертным холодом! Я едва добрался до своей комнаты, не помня себя бросился на колени, и ты, о Боже, даровал мне последнюю усладу горчайших слез! Тысячи намерений, тысячи надежд теснились в душе, но под конец прочно и безраздельно утвер-

дилась последняя, единственная мысль: я должен умереть! Я лег спать, а сегодня утром в ясном спокойствии пробуждения та же мысль твердо и прочно живет в моем сердце: я должен умереть! Это вовсе не отчаяние, это уверенность, что я выстрадал свое и жертвую собой ради тебя. Да, Лотта, к чему скрывать? Один из нас троих должен уйти, и уйду я! О любимая, мое растерзанное сердце не раз язвила жестокая мысль... убить твоего мужа!.. Тебя!.. Себя!.. Да будет так! Когда ясным летним вечером ты взойдешь на гору, вспомни тогда обо мне, о том, как часто поднимался я вверх по долине, а потом взгляни на кладбище, на мою могилку, где ветер в лучах заката колышет высокую траву... Я был спокоен, когда начал писать, а теперь все так живо встает передо мной, и я плачу, точно дитя...»

---

Часов около десяти Вертер кликнул слугу и, пока одевался, сказал ему, что намерен на днях уехать, а потому надо вычистить платье и приготовить все в дорогу; кроме того, приказал затребовать повсюду счета, собрать одолженные им книги, а беднякам, которым он оказывал помощь еженедельно, раздать пособие за два месяца вперед.

Он велел принести обед к себе в комнату и прямо из-за стола отправился к амтману, но не застал его дома. Задумчиво бродил он по саду, словно хотел на прощание взвалить на себя весь груз горьких воспоминаний.

Дети вскоре нарушили его одиночество, они бегали за ним, висели на нем, рассказывали наперебой: когда пройдет завтра и послезавтра и еще один день, тогда они поедут к Лотте на елку и получат подарки; при этом они расписывали всяческие чудеса, какие им сулило их нехитрое воображение.

— Завтра! И послезавтра и еще один день! — вскричал он, нежно расцеловал их всех и хотел уйти, но тут самый младший потянулся что-то сказать ему на ушко и выдал ему тайну: старшие братья написали красивые новогодние поздравления — вот такие большущие! Одно для папы, одно для Альберта и Лотты, и для господина Вертера тоже написали, и преподнесут их утром на Новый год. Это было выше его сил, он сунул каждому по монетке, передал поклон отцу, вскочил на лошадь и, едва удерживая слезы, уехал.

Около пяти часов он возвратился домой и приказал горничной позаботиться, чтобы камин топился до ночи. Слуге он велел уложить в самый низ сундука книги и белье, а платье зашить.\* После этого он, должно быть, написал следующие строки своего последнего письма к Лотте.

---

«Ты не ожидаешь меня! Ты думаешь, я послушаюсь и не увижусь с тобой до сочельника! Нет, Лотта! Сегодня или никогда. В сочельник ты дрожа будешь держать в руках это письмо и

оросишь его своими драгоценными слезами. Так надо, так будет! О, как покойно мне оттого, что я решился!»

---

С Лоттой между тем происходило что-то странное. После разговора с Вертером она почувствовала, как тяжело будет ей с ним расстаться и как он будет страдать, покидая ее.

При Альберте она вскользь упомянула, что Вертер не придет до сочельника, и Альберт отправился верхом по соседству к одному должностному лицу, с которым у него были дела, и собирался там заночевать.

И вот она сидела одна, никого из братьев и сестер не было с ней, она сидела в тихой задумчивости, размышляя о своем положении. Она навеки связана с человеком, чью любовь и верность она знает, кому сама предана душой, чья положительность и постоянство словно созданы для того, чтобы честная женщина строила на них счастье своей жизни; она понимала, чем он всегда будет для нее и ее детей. И в то же время Вертер так стал ей дорог, с первой минуты знакомства так ярко сказалось их духовное сродство, а длительное общение с ним и многое из пережитого вместе оставило в ее сердце неизгладимый след. Всем, что волновало ее чувства и мысли, она привыкла делиться с Вертером и после его отъезда неминуемо ощутила бы зияющую пустоту. О, какое счастье было бы превратить его сейчас в

брата или женить на одной из своих подруг, какое счастье было бы вновь наладить его отношения с Альбертом!

Она перебрала мысленно всех подруг и в каждой видела какой-нибудь недостаток, ни одной не нашла достойной его.

В итоге этих размышлений она впервые до глубины души почувствовала, если не осознала вполне, что самое ее заветное, затаенное желание — сохранить его для себя, но наряду с этим понимала, что не может, не смеет сохранить его; невозмутимая ясность ее прекрасной души, которую ничто не могло замутить, теперь омрачилась тоской оттого, что пути к счастью ей закрыты. На сердце навалился гнет, и взор заволокло туманом.

Время подошло к половине седьмого, когда она услышала шаги на лестнице и тотчас узнала походку и голос Вертера, осведомлявшегося о ней: сердце у нее забилося, пожалуй, впервые при его появлении. Она предпочла бы сказать, что ее нет дома, но тут он вошел, и она встретила его растерянным и возмущенным возгласом:

— Вы не сдержали слова.

— Я ничего не обещал, — был его ответ.

— Так могли бы хоть внять моей просьбе, — возразила она, — ведь я просила ради нас обоих, ради нашего покоя.

Она плохо понимала, что говорит, и не больше понимала, что делает, когда послала за кем-то из подруг, лишь бы не быть наедине с Вертером.



Он достал принесенные с собой книги и спросил о каких-то других, а она попеременно желала, чтобы подруги пришли и чтобы они не приходили. Горничная вернулась с известием, что обе приглашенные прийти не могут.

Она хотела было распорядиться, чтобы горничная сидела с работой в соседней комнате; потом передумала. Вертер шагал из угла в угол, она подошла к фортепьяно и начала играть менуэт, но все время сбивалась. Наконец она овладела собой и с беспечным видом села возле Вертера, когда он занял обычное свое место на диване.

— У вас нечего почитать? — спросила она. Оказалось, что нет. — В ящике моего стола лежит ваш перевод песен Оссиана,\* я еще его не читала, все надеялась услышать в вашем чтении, но это почему-то не получалось до сих пор.

Он улыбнулся, пошел за тетрадью, но, когда взял ее в руки, дрожь охватила его, и на глаза набежали слезы, когда он заглянул в нее. Он сел и стал читать:

«Звезда вечерних сумерек, ты дивно горишь на закате, твой лучистый лик выходит из-за туч, и гордо плывешь ты к своим холмам. Чего ищешь на равнине? Утих бурный ветер; издали доносится рокот потока, и волны шумят у подножия дальних утесов; рой вечерних мошек, жужжа, кружатся над полем. Чего же ты ищешь, прекрасное светило? Но, улыбнувшись, ты уходишь, и радостно играют вокруг тебя волны, лаская

золото твоих волос. Прощай, спокойный луч!  
Явись, прекрасный свет великой души Оссиана!

И вот он является во всей своей мощи. Я вижу ушедших из жизни друзей, они собрались на Лоре, как в дни давно минувшие. Фингал подобен туманному столбу; и с ним его герои, а там и барды песнопений: седой Уллин! И статный Рино! И Альпин, пленительный певец! И ты, скорбящая Минона! Как вы изменились, друзья, с тех пор как отшумели пиры на Сельме, когда мы состязались в песнях, подражая весенним ветеркам, колеблющим на холме тихонько шелестящую траву.

Тут вышла Минона, сияя красотой; взор ее был потуплен, и слезы стояли на глазах, а косы струились тяжелыми волнами, их развевал ветер, дующий с гор. И омрачились души героев, едва зазвучал ее волшебный голос, ибо не раз видели они могильный склеп Сальгара и мрачное жилище белой Кольмы, сладкоголосой Кольмы, покинутой на холме: Сальгар обещал ей прийти; но тьма сгустилась вокруг. Слушайте голос Кольмы, одиноко сидящей на холме.

### Кольма

Ночь! И я одна, забытая в бурю на холме. Ветер свищет в ущельях. Поток стремится вниз с утеса. А я забыта в бурю на холме, и негде мне укрыться от дождя.

Выйди, месяц, из-за туч! Явитесь, звезды ночи! Пусть ваш свет мне укажет дорогу туда,

где мой любимый отдыхает от трудов охоты, лежит с ним рядом спущенный лук, и усталые псы окружают его! А я сижу здесь одна на утесе, и под ним бурлит поток. Поток ревет, и буря бушует, и мне не слышен голос любимого.

Зачем же медлит мой Сальгар? Забыл, что дал он мне слово? Вот дерево, и вот утес, а рядом бурлит поток! Ты обещал прийти, когда настанет ночь; ужели заблудился мой Сальгар? Я хотела бежать с тобой, покинуть гордых отца и брата! Давно роды наши враждуют, но мы не можем быть врагами, о Сальгар! Замолкни на мгновение, о ветер! Утихни на мгновение, поток! Пусть голос мой звучит в долине, чтобы путник услышал меня! Сальгар, я тебя зову! Вот утес, вот дерево! Сальгар! Возлюбленный! И я здесь; что же ты медлишь прийти?

Взошла луна, в долине блестит поток, и камни скал сереют по склонам холма; но Сальгара нет и нет, собаки лаем не возвещают о нем. Одна сижу я здесь.

Но кто те двое, что лежат внизу, в долине? Мой брат? Мой милый? Откликнитесь, друзья! Они не отвечают. Страх стеснил мне сердце! Увы, они убиты! Мечи их окровавлены в бою! О брат мой, брат! Зачем убил ты моего Сальгара? О мой Сальгар! Зачем ты убил моего брата? Я вас обоих так любила! Ты был прекрасен среди тысяч у холма! Он был страшен в сражении. Ответьте мне! Откликнитесь на голос мой, любимые! Увы! Они молчат, молчат навеки! И грудь их холодна, как грудь земли!

С уступов этого холма, с вершины, где воеет буря, отвечайте мне, духи мертвых! Говорите, я не испугаюсь! Куда ушли вы на покой? Где вас искать, в каких горных пещерах? Ни отзыва в вое ветра, ни шепота в дыхании бури.

Я сижу в тоске, я жду в слезах, когда настанет утро. Ройте могилу, друзья усопших, но не засыпайте ее, пока я не приду. Жизнь ускользает от меня, как сон, зачем мне оставаться среди живых? Здесь я буду жить с друзьями, у потока, среди гремящих скал. Когда стемнеет на холме и над равниной засвищет ветер, мой дух восстанет в дыхании ветра и будет оплакивать смерть друзей. Охотник в шалаше услышит меня и устрасится, и будет пленен моим голосом, так сладко буду я петь о моих друзьях, равно мною любимых!

Так ты пела, Минона, кроткая, стыдливая дочь Тормана. И мы рыдали над Кольмой, и омрачились наши души.

Тут с арфой вышел Уллин и спел нам песнь Альпина — ласково звучал голос Альпина, а Рино душой подобен был огненной стреле. Но тесный гроб стал им жилищем, и голоса их отзвучали в Сельме.

Однажды Уллин вернулся с охоты, когда герои были еще живы, и услышал, как состязаются они в пении на холме. Их песни были нежны, но печальны. Они оплакивали смерть Морара, первого в ряду героев. Его душа была, как душа Фингала, а меч, как меч Оскара, но он пал, и

отец его сокрушался, и полны слез были глаза его сестры, полны слез глаза Миноны, сестры могучего Морара.

Как только зазвучала песня Уллина, Минона скрылась, точно месяц на закате, когда, предвидя непогоду, он прячет за тучу свой прекрасный лик. И вместе с Уллином я ударил по струнам арфы, вторя песне скорби.

### Рино

Ненастье миновало, сияет яркий полдень, рассеяв сумрак туч. Изменчивое солнце неверными лучами озаряет холм. Весь алый, бежит по долине горный ручей. Ручей, как сладок твой рокот! Но слаще мне слышится голос. То голос Альпина, он скорбит об умершем. Голова его склонилась под бременем лет, глаза покраснели от слез. Альпин! Дивный певец! Зачем ты один на безмолвном холме? Зачем ты стонешь, как ветер в чаще леса, как волна у дальних берегов?

### Альпин

Я плачу, Рино, об усопшем, и мой голос взывает к обитателям могил. Как ты величав на холме, как прекрасен среди сынов равнины, но ты падешь, подобно Морару, и слезы прольются на твоей могиле. Холмы забудут тебя, и твой спущенный лук будет лежать под сводами пещеры.

Ты был резв, Морар, как олень на холме, и страшен, как зарницы в темном небе. Твой гнев был грозой, твой меч сверкал в бою, подобно молниям над равниной, голос твой гремел, как лесной поток после дождей, как гром за дальними холмами. Многих сразила рука твоя, испепелило пламя твоего гнева. Когда же ты возвращался после битвы, твой голос звучал так мирно! Твой лик был ясен, как солнце после бури, как месяц в безмолвии ночи, а душа спокойна, точно озеро, когда утихли порывы ветра.

Тесно теперь твое жилище! Мрачен тот край, где ты обитаешь! Тремя шагами могу я измерить могилу того, кто был некогда так велик! Четыре камня, увенчанных мхом, — вот единственная о тебе память! Дерево без листьев да шуршащая под ветром высокая трава укажут охотнику могилу героя Морара. Нет у тебя матери, чтобы плакать над тобой, нет девушки, чтобы пролить слезы любви. Умерла родившая тебя, погибла дочь Морглана.

Кто там опирается на посох? Кто это, чьи кудри побелели от старости, а глаза красны от слез? Это твой отец, Морар, отец единственного сына. Он слышал, как ты прославился в битве, как рассеялись перед тобой враги, он слышал, как восхваляли тебя. Увы, о твоих ранах не слышал он! Плачь, плачь, отец Морара, твой сын не услышит тебя. Сон мертвецов глубок, изголовьем им служит прах. Твой голос не достигает его, твой зов его не пробудит. О, когда же настанет

утро для обитателей могил и спящий услышит:  
„Проснись!”

Прости, благороднейший из смертных, воин-победитель. Не быть тебе больше на бранном поле, не озарять дремучего леса сверканьем клинка. Ты не оставил сына, но имя твое сохранится в песне, и грядущие века услышат о тебе, услышат о Мораре, павшем в битве.

Громки были рыдания героев, но всего громче надрывный стон Армина. Ему вспомнилась смерть сына, погибшего в расцвете юных лет. Подле героя сидел Кармор, властитель шумного Галмала. Он спросил:

— Зачем так горестны рыданья Армина? О чем тут плакать? На то и песни, чтоб трогать и тешить душу. Они подобны легкому туману, который, поднимаясь с озера в долину, окропляет цветы живительной росой; но стоит подняться солнцу, и туман растает без следа. О чем ты сокрушаешься, Армин, владыка Гормы, омытой волнами?

— Да, я сокрушаюсь! И велика скорбь моя! Кармор, ты не утратил сына, не утратил цветущей дочери; храбрый Кольгар жив, и жива прекрасная дева Аннира. Ветви твоего дома цветут, о Кармор. А наш род окончится с Армином. Мрачно твое ложе, о Даура! И глубок могильный сон. Когда же ты проснешься и вновь зазвучит твое пенье, твой пленительный голос? Дуй, дуй, осенний ветер! Бушуй над мрачной равниной! Реви, лесной поток! Буря, шуми вершинами

дубов! Плыви, о месяц, пусть между обрывками туч мелькает твой бледный лик! Напомни мне о той жестокой ночи, когда погибли мои дети, пал могучий Ариндаль, угасла милая Даура.

Даура, дочь моя, ты была прекрасна! Прекрасна, как месяц над холмами Фуры, бела, как первый снег, нежна, как веяние ветерка. Туго натягивал ты свой лук, Ариндаль, и в битве метко метал копьё свое, взор твой был как мгла над морем, а щит сверкал подобно молниям в грозу!

Армар, прославленный в битвах, явился сносить любовь Дауры. Она противилась недолго, и друзья предрекали им счастье. Эрат, сын Одгала, затаил вражду, ибо рукой Армара был сражен его брат. Он пришел в обличье моряка. На волнах качался его нарядный челнок, кудри его серебрились, и суровое чело было спокойно.

— Прекраснейшая дева, — сказал он, — пленительная дочь Армина, у ближних скал, на взморье, где на деревьях рдеют плоды, там Армар ждет Дауру; я прислан перевезти его милую через бушующие волны.

Даура последовала за ним и стала звать Армара; только голос скал был ей ответом.

— Армар, мой милый, мой любимый, зачем ты пугаешь меня? Откликнись, откликнись, сын Арната! Тебя зовет Даура!

Вероломный Эрат, смеясь, скрылся на суше. Девушка, возвысив голос, стала звать отца и брата:

— Ариндаль! Армин! Неужели никто не спасет Дауру!



Зов ее донесся через море. Ариндаль, мой сын, сбежал с холма; он был грозен в охотничьих доспехах, в руках держал лук, в колчане у бедра гремели стрелы, пять иссера-черных догов скакали вокруг него. На берегу он увидел злодея Эрата, схватил его и привязал к дубу, крепко стянув ему бедра. Стоны связанного огласили воздух.

Ариндаль пустился в море на своем челне, чтобы привезти Дауру. Но тут явился гневный Армар, он спустил стрелу с серым опереньем; звеня, взвилась она и впилась тебе в сердце, о Ариндаль, мой сын! Вместо злодея Эрата погиб ты, твой челн пригнало к скалам. Ты упал на них и умер. Несчастливая Даура, у ног твоих текла кровь брата!

Волны разбили челн. Армар бросился вплавь спасать свою Дауру или умереть. Порыв ветра налетел с холма, вздыбил волны, и пловец навеки исчез под водой.

А я стоял один на утесе, окруженном морем, и слушал стоны дочери. Громко, неумолчно звала она, но отец не мог ее спасти. Всю ночь я простоял у моря и видел ее при бледном свете луны, всю ночь я слышал ее вопли, а ветер выл, и о скалы хлестал дождь. Перед рассветом голос Дауры стал слабеть. Она утихла, как вечерний ветерок в траве, растущей по утесу, угасла под бременем скорбей, оставила Армина одного! Погиб мой оплот в битвах, исчезла моя гордость, лучшая среди дев.

Когда бушуют бури с гор и вздымает волны северный ветер, я сижу на гулком берегу, не

отводя глаз от той страшной скалы. Месяц на закате порой озаряет тени моих детей, смутными призраками бродят они в печальном уединении...»

Из глаз Лотты хлынули слезы, давая исход ее тоске, и прервали чтение Вертера. Он отшвырнул тетрадь, схватил ее руку и заплакал горькими слезами. Лотта оперлась на другую руку и закрыла глаза носовым платком. Оба были глубоко потрясены. Горькую участь героев песнопения они ощущали как собственное свое горе, ощущали его вместе, и слезы их лились согласно. Губы и глаза Вертера жгли Лотте руку. Ей стало страшно, она хотела уйти, но скорбь и жалость сковали ее, придавили свинцовой тяжестью. Она перевела дух и сквозь рыдания попросила его, неземным голосом попросила его читать дальше. Вертер весь дрожал, сердце его разрывалось, он поднял листок и, задыхаясь, стал читать:

«Зачем же ты будишь меня, о вейянье весны? Ты ластишься и говоришь: „Я окропляю росой небес!“ Но близок для меня час увяданья. Близка та буря, что оборвет мои листы. А завтра он придет, придет тот странник, который знал меня в моей красе. Он будет повсюду искать меня взглядом и не найдет меня...»

Смысл этих слов всей своей силой обрушился на несчастного Вертера. В глубоком отчаянии бросился он к ногам Лотты, схватил ее руки, приложил их к своим глазам, ко лбу, и у нее в душе мелькнуло смутное предчувствие его страш-

ного решения. Сознание ее помутилось, она сжала его руки, прижала к своей груди, в порыве сострадания склонилась над ним, и их пылающие щеки соприкоснулись. Все вокруг перестало существовать. Он стиснул ее в объятиях и покрыл неистовыми поцелуями ее трепетные, лепечущие губы.

— Вертер! — крикнула она сдавленным голосом, отворачиваясь от него. — Вертер! — и беспомощным движением попыталась отстранить его. — Вертер! — повторила она тоном благородной решимости. Он не стал противиться, разжал объятия и, не помня себя, упал к ее ногам. Она выпрямилась и в мучительном смятении, теряясь между любовью и гневом, выговорила: — Это не повторится, вы больше не увидите меня, Вертер! — И, бросив на страдальца взгляд, исполненный любви, выбежала в соседнюю комнату, и заперлась на ключ.

Вертер простирал ей вслед руки, но не смел удержать ее. С полчаса лежал он на полу, склоняясь головой на диван, пока какой-то шорох не привел его в чувство. Это горничная пришла накрывать на стол. Он принялся шагать по комнате, а когда снова остался один, подошел к двери кабинета и тихонько позвал:

— Лотта, Лотта! Одно словечко! На прощание! — Она молчала. Он ждал, и молил, и снова ждал; потом крикнул: — Прощай, Лотта! Прощай навеки! — и бросился прочь.



*Последнее вертерово  
прощание*

*Гравюра Даниэля Ходовецки, 1778 г.*

Он добрел до городских ворот. Сторожа знали его и пропустили без разговоров. Шел мокрый снег, а он лишь около одиннадцати часов снова постучался у ворот. Когда он воротился домой, слуга его заметил, что барин потерял шляпу. Однако не решился ничего сказать, раздевая его. Вся одежда промокла насквозь. Впоследствии шляпу нашли на уступе холма, обращенном к долине; непостижимо уму, как ухитрился он в темную, дождливую ночь взобраться туда, не сорвавшись.

Он лег в постель и проспал долго. Слуга застал его за столом, когда утром на его зов принес кофе. Вот что приписал он к письму Лотте:

---

«Итак, в последний раз, в последний раз раскрываю я глаза. Увы, им более не суждено увидеть солнце, тусклый туманный день застал его. Печалься же, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный кончает свои дни. Лотта, только со смутным сном можно, пожалуй, сравнить то чувство, когда приходится сказать себе: это мое последнее утро. Последнее! Лотта, мне непонятно слово — последнее! Сейчас я полон сил, а завтра буду лежать, простертый и неподвижный, на земле. Умереть! Что это значит? Видишь ли, мы фантазируем, когда говорим о смерти. Я не раз видел, как умирают люди. Но человек так ограничен по своей природе, что ему не дано постигнуть начало и конец своего бытия. Сейчас еще

твой, твой! Да, твой, любимая! А через миг... оторван, разлучен... И что, если — навеки? Нет, Лотта, нет... как я могу исчезнуть? Как можешь ты исчезнуть? Ведь мы же существуем! Исчезнуть? Что это значит? Опять только слово, только пустой звук, невнятный моей душе... Умер, Лотта! Зарыт в холодную землю, где так тесно, так темно! У меня была подруга, она была для меня всем в пору моей несмелой юности. Она умерла, я провожал ее прах и стоял у могилы, когда опускали гроб, и веревки шурша выскользнули из-под него и поднялись наверх, а потом посыпались комья с первой лопаты и глухо застучали о страшный ящик, все глуше, глуше и совсем засыпали его! Я бросился на землю возле могилы, я был испуган, поражен, подавлен, потрясен до глубины души, и все же я не знал, что это было, что это будет — смерть! могила! Непонятные слова!

Ах, прости, прости меня! Мне надо было умереть вчера, в тот миг! ангел мой! Впервые, впервые без малейшего сомнения огнем прошло до самых недр моей души блаженное сознание: она любит, любит меня! И сейчас еще на губах моих горит священный пламень, которым пылали твои уста, и согревает мне сердце неведомым блаженством. Прости меня, прости!

О, я знал, что ты любишь меня, знал с первого же задушевного взгляда, с первого пожатия руки, и все же, когда я уходил, а Альберт оставался возле тебя, я вновь отчаивался и томился мучительным сомнением.

Помнишь, ты прислала мне цветы, когда в том несносном обществе мы не могли перемолвиться хотя бы словом или пожать друг другу руку? Полночи простоял я перед ними на коленях, ведь они были для меня залогом твоей любви. Но, увы, эти впечатления изгладились, как в душе верующего мало-помалу угасает сознание милости Господней, щедро ниспосланной ему в явных и священных знамениях.

Все проходит, но и вечность не охладит тот живительный пламень, который я выпил вчера с твоих губ и неизменно ощущаю в себе! Она меня любит! Мои руки обнимали ее, мои губы трепетали на ее губах, шепча из уст в уста невнятные слова. Она моя! Да, Лотта, ты моя навеки.

Пусть Альберт твой муж! Что мне в том? Он муж лишь в здешнем мире, и, значит, в здешнем мире грех, что я люблю тебя и жажду вырвать из его объятий и прижать к себе. Грех? Согласен, и я себя караю за него; во всем его неземном блаженстве вкусил я этот грех, выпитал с ним жизненную силу и крепость. И с этого мгновения ты моя, моя, о Лотта! Я уйду первый! Уйду к Отцу моему, к Отцу твоему. Ему я поведаю свое горе, и он утешит меня, пока не придешь ты, и тогда я поспешу тебе навстречу и обниму тебя, и так в объятиях друг друга пребудем мы навеки перед лицом предвечного.

Я не грежу, не заблуждаюсь! На пороге смерти мне все становится яснее. Мы не исчезнем! Мы свидимся! Увидим твою мать! Я увижу,

узнаю ее и перед ней, перед твоей матерью, твоим двойником, открою свою душу».

---

Около одиннадцати Вертер спросил своего слугу, вернулся ли Альберт. Слуга ответил, что вернулся, он сам видел, как прохаживали его лошадь. Тогда барин дал ему незапечатанную записочку такого содержания:

«Не одолжите ли вы мне свои пистолеты для предстоящего путешествия? Желаю вам долго здравствовать!»

---

Милая Лотта плохо спала эту ночь; то, чего она ждала со страхом, разрешилось, и разрешилось так, как она не могла ни предвидеть, ни подозревать. Кровь ее обычно текла ровно и безмятежно, теперь же была в лихорадочном возбуждении, и тысячи противоречивых чувств смущали ее чистую душу. Не огонь ли объятий Вертера горел в ее груди? Или же гнев на его дерзость? А быть может, она негодовала, сравнивая настоящее свое состояние с ушедшими днями невозмутимой и простодушной невинности и беспечной уверенности в себе? Каково будет ей встретиться с мужем? Рассказать ему о происшествии, в котором ей нечего скрывать и все же так трудно признаться? Оба они слишком долго молчали, и теперь ей первой придется нарушить молчание и в самую неподходящую минуту поразить мужа столь неожиданной исповедью. Уже



самое известие о приходе Вертера будет ему неприятно, а тут еще это неожиданное потрясение! Смеет ли она надеяться, что муж надлежащим образом без малейшего предубеждения примет случившееся? Смеет ли она желать, чтобы он заглянул ей в душу? Но, с другой стороны, как ей хитрить с человеком, перед которым душа ее всегда была открыта и чиста, как хрустальный сосуд, с человеком, от которого она никогда не скрывала и не умела скрывать свои чувства? Эти противоречивые ощущения смущали и тревожили ее, а мысли то и дело возвращались к Вертеру — он был потерян для нее, она же не могла оставить его, но, увы, должна была предоставить самому себе, а он, теряя ее, терял все.

Она сама не сознавала, как тяжело сказывалась теперь на ней преграда, выросшая между нею и мужем! Из-за какой-то скрытой розни у них, разумных, порядочных людей, начались недомолвки, каждый все больше убеждался в своей правоте и неправоте другого, отношения так обострились и усложнились, что под конец, в самую решительную минуту, от которой зависело все, узел уже невозможно было развязать. Если бы в порыве счастливой откровенности согласие их восстановилось, если бы между ними ожила взаимная снисходительная любовь и растопила их сердца, друг наш, пожалуй, был бы спасен...

К этому примешалось еще одно особое обстоятельство. Как мы знаем из писем Вертера, он

никогда не скрывал, что стремится уйти из жизни. Альберт постоянно спорил с ним, и между собой супруги тоже иногда толковали об этом. Альберт был ярким противником такого конца и с раздражением, не свойственным его натуре, утверждал не раз, что имеет веские причины сомневаться в серьезности подобного намерения; он даже отпуская по этому поводу шутки и внушил свое неверие Лотте.

Отчасти это успокаивало ее, когда она представляла себе горестную картину, но в то же время мешало ей поделиться с мужем мучившими ее сейчас опасениями.

Когда Альберт возвратился, Лотта в смущении поспешила ему навстречу, он был мрачен, дело его не удалось, потому что сосед оказался несговорчивым и мелочным человеком. Плохая дорога только усугубила его досаду.

Он спросил, все ли благополучно, и она поторопилась сообщить, что вчера вечером приходил Вертер. Он спросил, нет ли писем, и услышал в ответ, что письмо и несколько пакетов лежат у него в комнате. Он пошел туда, и Лотта осталась одна. Встреча с мужем, которого она любила и чтילה, внесла перемену в ее чувства. Ей стало спокойнее на душе при мысли о его благородстве, его любви и доброте, ее потянуло к нему, она взяла свою работу и, как бывало, пошла за ним в кабинет. Он был занят делом, распечатывал и просматривал пакеты. Содержание некоторых из них было, видимо, не из приятных. Она о чем-то

спросила его, он ответил кратко, подошел к конторке и стал писать.

Так они пробыли друг подле друга около часа, и на душе у Лотты становилось все тяжелее. Она чувствовала: будь он даже в наилучшем расположении духа, ей не под силу открыть ему то, что ее угнетает, на нее напала тоска, тем более мучительная, что она пыталась овладеть собой, сдерживать слезы.

Появление слуги Вертера до крайности взволновало ее. Он вручил Альберту записку, и тот спокойно повернулся к жене со словами:

— Дай, пожалуйста, пистолеты. Пожелай ему счастливого пути, — добавил он, обращаясь к слуге.

Ее точно громом поразило, она поднялась шатаясь, голова ее шла кругом, с трудом добрела она до стены, дрожащими руками сняла пистолеты, смахнула с них пыль, но медлила отдать их и промешкала бы еще долго, если бы вопросительный взгляд Альберта не поторопил ее. Не в силах вымолвить ни слова, она протянула слуге роковое оружие, а когда тот ушел, собрала свою работу и в несказанной тревоге поспешила к себе в спальню. Воображение пророчило ей всяческие ужасы. Минутами она готова была броситься к ногам мужа и открыть ему то, что произошло — свою вину, свои страхи. И тут же понимала бесполезность такого шага; меньше всего могла она рассчитывать, что муж послушается ее и пойдет к Вертеру. Перед обедом явилась добрая приятель-



*Снятіе Шарлотты  
при отдаче пистолетовъ*

Гравюра Даниэля Ходовецки, 1778 г.

ница с намерением о чем-то спросить и сейчас же уйти, однако осталась и оживила беседу за столом; поневоле надо было сделать над собой усилие, говорить, рассказывать и хоть немного забыться.

Слуга принес Вертеру пистолеты, и тот взял их с восторгом, когда услышал, что их дала сама Лотта. Он велел подать вина и хлеба, отправил слугу обедать и принялся за письмо.

---

«Они были в твоих руках, ты стирала с них пыль, я осыпаю их поцелуями, ведь ты прикасалась к ним. И ты, небесный ангел, покровительствуешь моему решению! Ты, Лотта, протягиваешь мне оружие, из твоих рук хотел я принять смерть и вот теперь принимаю ее. Я подробно расспросил слугу. Ты дрожала, отдавая пистолеты, и не сказала мне прости! Горе мне, горе, не сказала прости! Неужто твое сердце закрылось для меня из-за того мгновения, что навеки связало нас с тобой? Пройдут тысячелетия, Лотта, но не сотрут его следа! Я знаю, чувствую — не можешь ты ненавидеть того, кто так страстно тебя любит».

---

После обеда он приказал слуге запаковать все окончательно, порвал много бумаг и вышел из дому погасить мелкие долги. Потом вернулся, снова вышел и, невзирая на дождь, отправился за город в графский парк, побродил по окрестностям, вернулся под вечер и сел писать.

«Вильгельм, я в последний раз видел поле, лес и небо. Прощай и ты! Дорогая матушка, простите меня! Будь ей утешением, Вильгельм! Благослови вас Господь! Дела мои в порядке. Прощайте! До нового, радостного свидания!»

«Я плохо отблагодарил тебя, Альберт, но ты простишь мне. Я нарушил мир твоей семьи, я посеял недоверие между вами. Теперь я положу этому конец. Прощай! О, пусть смерть моя принесет вам счастье! Альберт, Альберт, дай счастье этому ангелу! И да пребудет благодать Господня над тобой!»

---

Весь вечер он разбирал бумаги, многое порвал и бросил в камин, запечатал несколько пакетов и надписал на них адрес Вильгельма. Они содержали небольшие заметки, отрывочные мысли, кое-что из этого я видел; в десять часов он велел подбросить дров в камин и принести бутылку вина, после чего отослал спать своего слугу, каморка которого, как и хозяйские комнаты, выходила на задний двор. Слуга лег не раздеваясь, чтобы поспеть вовремя: барин сказал ему, что почтовых лошадей подадут к шести часам.

*«После одиннадцати.»*

Все тихо вокруг меня, и душа моя покойна. Благодарю тебя, Господи, что ты даровал мне в эти последние мгновения столько тепла и силы.

Я подхожу к окну, смотрю и вижу сквозь грозные, стремительно несущиеся тучи одиночные светила вечных небес! Вы не упадете, о нет! Предвечный хранит в своем лоне и вас и меня. Я увидел звезды Большой Медведицы, самого милого из всех созвездий. Когда я по вечерам уходил от тебя, оно сияло прямо над твоими воротами. В каком упоении смотрел я, бывало, на него! Часто я простирал к нему руки, видя в нем знамение и священный символ своего блаженства! И еще... Ах, Лотта, все, все напоминает здесь о тебе! Ты повсюду вокруг меня! Я, как ненасытное дитя, собирал все мелочи, которых касалась ты, моя святыня!

Завещаю тебе милый силуэт и прошу бережно хранить его. Тысячи раз я целовал его, тысячи раз кивал ему в знак приветия, когда уходил или возвращался домой.

Я написал твоему отцу и просил его позаботиться о моем прахе. На дальнем краю кладбища в сторону поля растут две липы: под ними хочу я покоиться. Он сделает это по дружбе. Попроси его за меня. Я не собираюсь навязывать благочестивым христианам посмертное соседство несчастного страдальца. Ах, мне хотелось, чтобы вы похоронили меня у дороги или в уединенной долине, чтобы священник и левит, благословясь, прошли мимо могильного камня, а самаритянин пролил над ним слезу.\*

Пора, Лотта! Без содрогания беру я страшный холодный кубок, чтобы выпить из него смер-



*Вертерова Смерть*

Гравюра Даниэля Ходовецки, 1778 г.



тельный хмель! Ты подала мне его, и я пью без колебаний. Весь, весь до дна! Так вот как исполнились желания и надежды моей жизни! Холодный и бесчувственный, стучусь я в железные ворота смерти!

О, если бы мне даровано было счастье умереть за тебя! Пожертвовать собой за тебя, Лотта! Я радостно, я доблестно бы умер, когда бы мог воскресить покой и довольство твоей жизни. Но увя! Лишь немногим славным дано пролить свою кровь за близких и смертью своей вдохнуть в друзей обновленную, стократную жизнь!

Я хочу, чтобы меня похоронили в этой одежде, она освящена твоим прикосновением; я просил о том же твоего отца. Моя душа витает над гробом. Не позволяй осматривать мои карманы. Вот этот розовый бант был на твоей груди, когда я впервые увидел тебя среди твоих детей, расцелуй их за меня и расскажи им об участи несчастного их друга. Милые мои! Они и сейчас окружают меня! Ах, как я потянулся к тебе, с первой же минуты не мог я оторваться от тебя! Пусть этот бант положат со мной в могилу. Ты мне подарила его в день рождения! Ах, как жадно вкушал я все эти радости! Не думал я, что сюда приведет меня мой путь!.. Будь спокойна, молю тебя, будь спокойна!..

Они заряжены... Бьет полночь! Да будет так! Лотта, прощай! Прощай, Лотта!..»

---

Один из соседей увидел вспышку пороха и услышал звук выстрела; но все стихло, и он успокоился.

В шесть часов поутру входит слуга со свечой. Он видит своего барина на полу, видит пистолет и кровь. Он зовет, трогает его; ответа нет, раздаётся только хрипение. Он бежит за лекарем, за Альбертом.

Лотта слышит звонок, ее охватывает дрожь. Она будит мужа, оба встают; захлебываясь от слез, слуга сообщает о происшедшем, Лотта без чувств падает к ногам Альберта.

Когда врач явился к несчастному, он застал его на полу в безнадежном состоянии, пульс еще бился, но все тело было парализовано. Он прострелил себе голову над правым глазом, мозг брызнул наружу. Ему открыли жилу в руке, кровь текла, он все еще дышал.

Судя по тому, что на спинке кресла была кровь, стрелял он, сидя за столом, а потом соскользнул на пол и бился в судорогах возле кресла. Он лежал, обессиленный, на спине, головой к окну, одетый, в сапогах, в синем фраке и желтом жилете. Весь дом, вся улица, весь город были в волнении. Пришел Альберт. Вертера уже положили на кровать и перевязали ему голову. Лицо у него было, как у мертвого, он не шевелился. В легких еще раздавался ужасный хрип, то слабевший, то усиливаясь; конец был близок.

Бутылка вина была едва почата, на столе лежала раскрытой «Эмилия Галотти».\*

Не берусь описать потрясение Альберта и горе Лотты.

Старик амтман примчался верхом, едва получив известие, и с горькими слезами целовал умирающего. Вслед за ним пришли старшие его сыновья, в сильнейшей скорби упали они на колени возле постели, а самый старший, любимец Вертера, прильнул к его губам и не отрывался, пока он не испустил дух; тогда мальчика пришлось оттащить силой. Скончался Вертер в двенадцать часов дня. Присутствие амтмана и принятые им меры умиротворили умы. По его распоряжению Вертера похоронили около одиннадцати часов ночи на том месте, которое он сам для себя выбрал. Старик с сыновьями шли за гробом, Альберт идти не мог — жизнь Лотты была в опасности. Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его.



# ДОПОЛНЕНИЯ





# Из первых русских переводов и подражаний роману Гете «Страдания юного Вертера»

## ИЗ КНИГИ «СТРАСТИ МОЛОДОГО ВЕРТЕРА»

ПЕРЕВОД Ф. ГАЛЧЕНКОВА

Здесь публикуются три фрагмента из первого русского перевода романа Гете (Страсти молодого Вертера / Пер. Ф. Галченкова. СПб., 1781). Два первых письма дают представление о том, как передавал переводчик восторженное состояние Вертера, живущего в полной гармонии с миром; последний фрагмент ставил перед переводчиком совсем иную задачу: передать состояние безысходного душевного кризиса, в котором находился Вертер, когда писал свое предсмертное письмо.

### ПИСЬМО II. МАЯ 10

Непонятная радость объемлет мое сердце; душа моя спокойна, как тихое утро весны. В уединении моем восхищаюсь жилищем, приличным моему расположению, и наслаждаюсь в нем блаженством жизни. Друг мой! Я так счастлив, так упоен сладостью моего бытья, что и знания

мои забываю. Я не в состоянии ничего изобразить, ни провести единой черты; но никогда не был столь искусным живописцем, как теперь. Ибо когда легчайший пар покрывает веселые долины; когда солнце средь своего течения отдыхает на вершинах густо сплетенных деревьев, ограждающих меня непроницаемою тенью, пропуская оные только слабые свои лучи во внутрь моего святилища; когда, возлежа на густой мураве при быстротекущем источнике, утешаюсь различием злаков, приобщаюсь тварям, меня окружающим, кои журчат на класах, прыгают или пресмыкаются на траве; тогда ощущаю присутствие Всемогущего, Создавшего нас; тогда исполняюсь вдохновением Предвечного, коего беспримерным милосердием движемся и живем, словом, друг мой, когда взор мой омрачается; когда небо и земля совокупно в душе моей успокаиваются, подобно как образ возлюбленной моей; тогда пришед в себя помышляю: ах! если б ты возмог изъяснить сии приятства с таким совершенством, с такою силою, с каковою они в тебе впечатлеваются; сие было бы зеркалом души твоей, как душа твоя есть зеркало беспредельного Существа. Друг мой, но величественность сих воображений меня смущает и разит.

### ПИСЬМО III. МАЯ 12

Я не знаю, волшебные ли вокруг меня летают духи, или божественное во мне действует вообра-

жение, что все окружающее меня кажется раем. Недалеко отсюда находится источник, к коему привязан я, как Мелузина со своими сестрами. Сошед с небольшого холму, выйдешь к каменному своду, где, спустясь на двадцать ступеней, увидишь чистейшие струи, из мрамора истекающие. Окружающая его ограда, покрывающие его высокие деревья и прохлада места имеют нечто трогательное и величественное. Не проходит дня, в котором бы я по крайней мере не посидел часу при оном. Молодые горожанки приходят черпать из него воду: невинное и нужнейшее упражнение, коим некогда занимались царские дочери. Тогда времена Патриархов живо представляются моему воображению; я вижу сих предков, заключающих между собою союзы и торжествующих при источниках браки под защитою благотворительных духов.

Друг мой, кто не восхищается сим воображением, тот никогда не наслаждается во время летних жаров прохладою при потоках вод.

В одиннадцать часов.

Повсюду окрест меня царствует тишина, и душа моя наслаждается спокойствием! благодарю тебя Господи, что в сии последние минуты даруешь мне столько силы и крепости духа.

Я подхожу к окошку, возлюбленная моя, и сквозь облака, сильным ветром быстро гонимые, я зрю, еще зрю несколько блестящих звезд на вечно незыблемой тверди небесной. О сияющие



светила! Нет, вы не будете разрушены; Предвечный и вас и меня сохранит в недрах своих. Я еще видел Большую Медведицу, из всех любезнейшее для меня созвездие; когда я в ночное время отходил от тебя, когда оставлял твое жилище, то она всегда оное освещало. С каким восторгом я взирал на нее! Часто простирая к ней свои руки, призывал ее во свидетельницы настоящего моего блаженства! И еще — О! Шарлота! есть ли такая вещь, которая бы тебя на память мне не приводила? Ты и теперь меня со всех сторон окружаешь, и я подобно дитяти собрал около себя все те безделки, которые прикосновение твое священными учинило? Любезнейший для меня твой портрет! Я тебе его возвращаю, Шарлота, и прошу, чтобы ты его почитала. Я лобзал его тысячекратно и каждый раз выходя, и возвращаясь в дом, кланялся и воздавал должное ему почтение.

Я написал записочку к родителю твоему, в которой прошу тело мое предать погребению. На конце кладбища, к самому полю, есть две прекрасные липы; тут желаю я, чтоб почил прах мой. Он может и, конечно, сделает сие для своего верного друга. Присоедини свои к моим просьбы; я не думаю, чтобы богобоязливые христиане быть захотели подле погребены такого несчастного трупа. Ах! Желал бы я быть положен в какой-нибудь уединенной долине или лучше при большой дороге, дабы священник и левит, идучи мимо моей могилы, благословил Всевышнего, а самарянин пролил бы над нею слезы.

Шарлота! Я не содрогаюсь, принимая страшную чашу смерти. Ты мне оную подашь, я не могу ее отринуть. Все уже свершилось, все желания мои, вся надежда жизни моей исполнилась! Холодею, окаменеваю, уже отверзаются предо мною медные врата смерти.

Почто я лишен того счастья, чтобы умереть за тебя, дрожайшая Шарлота, чтобы жизнь свою принести за тебя на жертву! Я бы умер мужественно и с великою радостью, если бы тем возвратил тебе спокойствие и благоденствие твоей жизни.

Но увы! Счастье пролить кровь свою за любезнейших особ и сею жертвою умножить блаженство их представлено весьма малому числу мужей знаменитых.

Я желаю, Шарлота, быть погребен в том самом платье, которое теперь на мне: оно священо, ты к нему касалась. Я о сем также и родителя твоего просил. Душа моя летает уже над гробницею. Прошу, чтобы не обыскивали моих карманов. Сей розовый бантик, который украшал грудь твою, как я в первый раз увидел тебя посреде детей (сих любезных детей, кажется мне, я теперь вижу прыгающих около меня; расцелуй их и расскажи им о судьбе несчастного их друга). Ах! Как я к тебе прилепился, с той первой минуты и до сей последней не мог я тебя оставить; сей розовый бантик должен быть со мною погребен. Ты меня им подарила в день рождения моего: с какой жадностью я принял оной! Увы! не предви-

дел я, что путь сей приведет меня к такому концу! — будь спокойна, для Бога, будь спокойна. —

Пистолеты заряжены — двенадцать бьет — час настал — Шарлота! Шарлота! Прости! Прости навеки. —

## ИЗ КНИГИ «СТРАСТИ МОЛОДОГО ВЕРТЕРА»

ПЕРЕВОД Ф. ГАЛЧЕНКОВА, ИСПР. И. ВИНОГРАДОВЫМ

После первого издания — издания 1781 года — перевод Ф. Галченкова выходил с указанием на то, что был исправлен И. Виноградовым (Страсти молодого Вертера. Соч. г. Гете. С присовокуплением писем Шарлотты к Каролине, писанных во время ее знакомства с Вертером. Вновь переведенные / Пер. Ф. Галченкова, испр. И. Виноградовым. СПб., 1796. Ч. 1—2). С тем чтобы показать, сколь незначительны были поправки И. Виноградова, публикуем те же фрагменты, что уже приводились по первому изданию книги.

### ПИСЬМО II. МАЯ 10

Какою неизъяснимою радостью объемлется сердце мое! душа моя так спокойна, как тихое утро весны. В теперешнем моем уединении прельщаюсь желанием, сходственным с моим расположением, и наслаждаюсь в нем блаженством жизни. Любезный друг! я так счастлив, так упоен сладостью бытия моего, что все познания мои за-

бываю. Я не в силах ничего изобразить и ниже единой черты провести, но никогда не был столь искусным живописцем, как теперь. Ибо когда легкий пар покрывает веселые долины; когда солнце посреди своего течения отдыхает на вершине густо сплетенных деревьев, ограждающих меня непроницаемою тенью, пропуская сквозь оныя только слабые свои лучи внутрь моего святилища; когда, возлежа на густой мураве при быстро текущем источнике, люблюсь различием растений, приобщаюсь тварям, меня окружающим, кои жужжат на класах и прыгают или ползают в траве, тогда ощущаю присутствие Всемогущего, создавшего нас; тогда исполняюсь вдохновением Предвечного, коего беспримерным милосердием движимся и живем; словом, друг мой! когда взор мой омрачается, когда небо и земля совокупно в душе моей успокаиваются, подобно образу возлюбленной моей, тогда, пришед в себя, помышляю: ах! если бы ты возмог изразить сии приятства с таким совершенством, с такою силою, с какою они в тебе впечатляются, сие было бы зеркалом души твоей, как душа твоя есть зеркало беспредельного Существа. Любезный мой! величественность сих воображений меня мятет и поражает.

### ПИСЬМО III. МАЯ 12

Не знаю, волшебные ли вокруг меня летают духи, или Божественное во мне действует воображение, что все, меня окружающее, кажется мне

раем. Недалеко отсюда находится источник, к коему привязан я, как Мелузина со своими сестрами. Сошед с небольшого холму, достигаешь каменного свода, где, спустясь ступеней на двадцать, увидишь чистые струи, из мрамара истекающие. Окружающая его ограда, осеняющие его высокие деревья и прохлада места имеет нечто трогательное и величественное. Не проходит дня, в который бы я по крайней мере часу не посидел при оном. Молодые горожанки приходят черпать из него воду. — Невинное и нужнейшее упражнение, коим некогда занимались царские дочери! Патриаршеские времена живо представляются моему воображению; я мечтаю видеть предков, заключающих между собою союзы и празднующих браки при источниках под защиту благотворных духов.

Друг мой! кто не восхищается сим воображением, тот никогда не наслаждался во время летних жаров прохладою при потоках вод.

В одиннадцать часов.

Повсюду окрест меня царствует тишина, и душа моя наслаждается спокойствием! Благодарю Тебя, Господи, что в сии последние минуты даруешь мне столько силы и крепости духа!

Я подхожу к окошку, возлюбленная моя! и сквозь облака, сильным ветром быстро гонимые, зрю, еще зрю нескольких блестящих звезд на приснонезыблемой небесной тверди. Блистающие светила! нет, вы не будете разрушены. Предвеч-

ный и вас и меня сохранит в недрах Своих. Я еще видел Большую Медведицу, из всех любезнейшее для меня созвездие; когда я ночью отходил от тебя, когда оставлял твое жилище, то она всегда оную освещала. С каким восторгом взирал я на нее! Часто, простирая к ней свои руки, призывал ее во свидетельницу настоящего моего блаженства! И еще — О! Шарлота — есть ли такая вещь, которая бы мне тебя на память не приводила? Ты и теперь меня со всех сторон окружаешь, и я подобно дитяте собрал около себя все те безделки, которыми прикосновение твое учинило священными!

Любезнейший для меня твой портрет! Я тебе его возвращаю, Шарлота, и прошу, чтоб ты его почитала. Я лобзал его тысячекратно, и каждый раз, выходя и возвратясь в дом, кланялся и воздавал должное ему почтение.

Я написал записочку к родителю твоему, в которой прошу бедное мое тело предать погребению. На конце кладбища, к самому полю, есть две прекрасные липы; тут желаю я, чтоб успокоился прах мой. Он может и, верно, сделает сие для своего друга. Присоедини свои к моим просьбы; я не думаю, чтобы богобоязливые христиане захотели быть погребенными подле несчастного моего трупа. Ах! желал бы я быть положен в какой-нибудь уединенной долине или лучше при большой дороге, дабы священник, или левит, идучи мимо моей могилы, благословил Всевышнего, а самарянин пролил бы над нею слезы.

Шарлота! Я не содрогаюсь, принимая страшную чашу смерти. Ты мне оную подаешь, я не могу ее отринуть. Все уже совершилось, все мои желания, вся надежда жизни моей исполнилась! Хладею, каменею, уже отверзаются предо мною медныя врата смерти.

Почто я лишен того счастья, чтобы умереть за тебя, дражайшая Шарлота, чтобы жизнь свою принести за тебя на жертву! Я бы умер мужественно и с великою радостью, когда бы тем возвратил тебе спокойствие и благоденствие жизни твоей. Но, увы! Счастье пролить кровь свою за любезнейших особ и сею жестокостью умножить блаженство их предоставлено весьма малому числу мужей знаменитых.

Я желаю, Шарлота, быть погребен в том самом платье, которое теперь на мне: оно священо, ты к нему касалась. Я о сем также и родителя твоего просил. Душа моя летает уже над гробницею. Прошу, чтоб не обыскивали моих карманов. Сей розовый бантик, который украшал грудь твою, как я в первый раз увидел тебя посреди детей — сих любезных детей! — кажется мне, что я теперь вижу, прыгающих около меня, — расцелуй их и расскажи им о судьбе несчастного их друга. Ах! как я к тебе прилепился с той первой минуты, и до сей последней не мог я тебя оставить! Сей розовый бантик должен быть со мною погребен. Ты меня им подарила в день моего рождения, с какою радостью я принял оной! Увы! я не предвидел, что путь сей доведет

меня до такого конца — будь спокойна! — для Бога, будь спокойна! —

Пистолеты заряжены — двенадцать бьет — час настал — Шарлота! Шарлота! прости! — прости навеки!

## ПИСЬМО К ДРУГУ

ПЕРЕВОД А. ТУРГЕНЕВА

Данный фрагмент — единственный опубликованный отрывок из перевода, над которым совместно работали рано ушедший из жизни литератор Андрей Иванович Тургенев (1781—1803) и Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830) — поэт, переводчик, с 1804 года профессор красноречия и поэзии в Московском университете (Письмо к другу / Пер. А. Тургенева // Приятное и полезное препровождение времени. СПб., 1798. Ч. 19. С. 107—109). В. М. Жирмунский, характеризуя этот перевод, отмечал, что «оба переводчика гораздо ближе, чем Галченков и Виноградов, подходят к эмоциональному стилю оригинала, сохраняя его лирический пафос и особенности ритмико-синтаксической конструкции» (Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 36).

По всей душе моей разлилась необыкновенная веселость, подобная приятным весенним утрам, которыми я наслаждаюсь. Жизнь меня радует, и это место кажется нарочно для меня сотворено. Я так счастлив, мой любезный друг, столько погружен в чувство покойного существования, что искусство мое пропадает. Я бы не мог



теперь рисовать, не мог бы провести ни одной черты, и при всем том никогда не был таким живописцем, как в эти минуты, когда благоухающие испарения поднимаются вокруг меня с долины, когда солнце будто бы покоится над непроницаемую поверхность леса, и едва некоторые лучи украдкой входят во внутреннее святилище, когда я, лежа в высокой траве, подле быстрого ручья, ближе к земле замечаю тысячу разнообразных травок, ближе к сердцу моему чувствую шум маленьких тварей в кустарниках, бесчисленные, чудные виды всех червячков, мушек — ощущаю присутствие Всемогущего, дыхание вселюбящего, который в вечном блаженстве плавая, всех нас живит и сохраняет, когда свет меркнет в глазах моих, и мир, окружающий меня и небо, подобно образу любезной покоится в душе моей — тогда пробуждаются во мне душевные движения, и я думаю сам с собою: ах! если бы ты мог излить на бумагу, что с таким жаром, в такой полноте живет в тебе так, чтобы оно сделалось зеркалом души твоей, так как душа твоя есть зеркало бесконечного Бога! Друг мой... Но у меня... нет столько сил, великолепии сих явлений совершенно меня преодолело.

## ИЗ КНИГИ «СТРАДАНИЯ ВЕРТЕРА»

ПЕРЕВОД Н. М. РОЖАЛИНА

Все те же фрагменты приводятся по второму русскому переводу романа Гете (Страдания Вертера / Пер. Р. (Н. М. Рожалина). М., 1828—1829). Перевод этот появился спустя полстолетия после перевода Галченкова и Виноградова. По наблюдению В. М. Жирмунского «Рожалин лучше других переводчиков „Вертера” воспроизводит эмоциональный стиль сентиментально-романтической прозы — восторженный, страстный или меланхоличный (...) Перевод Рожалина, несмотря на устарелый язык, до сих пор остается наиболее адекватным немецкому подлиннику как продукт эпохи, еще созвучный „Вертеру” не только по вкусу, но и по идеологии» (Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 140).

Неизъяснимое спокойствие вселилось в мою душу, подобное ясности сладкого утра весеннего, которого прелесть я только здесь вполне ощущаю сердцем. Я один, и веселюсь жизнью в сей очаровательной стране, которая создана для таких душ, как моя. Я так счастлив, любезный, так погружен в чувство бытия безмятежного, что все искусства отказывают мне в выражении. Я теперь ни одной черты не проведу кистью и никогда не был таким великим живописцем, как в эти минуты, когда прелестная долина вокруг меня задымится, и высокое солнце скатится на вершины моего дремучего леса, и только некоторые лучи проникают во внутренность святилища, и я, лежа

в высокой траве у ската ручья, замечаю на земле тысячу разных травок; когда волнение мелкого подмуравного мира, вся неисследимая пестрота бесчисленных мушек и червячков шумит ближе к моему сердцу, и я чувствую присутствие Всемогущего, который, плавая в вечном блаженстве, нас живит и содержит: друг мой! когда замеркнет в глазах моих, и окружающий мир с небесами переляжет в душу мою, как образ возлюбленной; тогда я часто задумываюсь и говорю себе: ах! если б мог ты выразить, вдохнуть в бумагу то, что так полно, так горячо чувствуешь! ах! если б она могла быть зеркалом души твоей, как твоя душа есть зеркало бесконечного Бога! — мой друг — но я теряюсь, изнемогаю от силы сих торжественных впечатлений.

## 12 МАЯ

Не знаю, не духи ли очарователи витают над этой страной, или моим сердцем играет теплая небесная фантазия, которая все вокруг меня расписывает такими райскими красками. Здесь перед самым селением стоит колодец, колодец, к которому я заточен, как некогда Мелузина с дочерьми своими. Спустишься с небольшого холма и очутишься перед сводом; здесь ступеней двадцать сведут тебя вниз, и внизу самая чистая вода бьет из мрамора. Наверху небольшая каменная ограда, высокие деревья, кругом осеняющие место, его прохлада, все это вместе имеет что-то

пленительное, волшебное. Нет дня, чтобы я не просидел здесь часу. Тогда приходят обыкновенно из города девушки и черпают воду, дело, самое простое и нужное, которым некогда дочери самих царей занимались. Когда я здесь сижу, мне так ясно представляется картина времен патриархальных; я воображаю себе, как все эти праотцы у колодцев знакомились и сватались и как около ключей и колодцев вьются духи благодетельные. О! тот после долговременной летней прогулки никогда не наслаждался вполне прохладой колодца, кто вместе со мною не может этого чувствовать.

#### Двенадцатый час.

Все вокруг меня так тихо, и так спокойна душа моя. Благодарю тебя, Боже, за то, что ты дал последним минутам моим этот жар, эту силу!

Подхожу к окошку, любезная! и вижу, вижу еще сквозь бурные, несущиеся тучи звезды вечного Неба! Нет! никогда не спасти вам! Вечный держит вас у сердца своего и меня также. Вижу Медведицу, прекраснейшее из всех созвездий. Когда я ночью уходил от тебя, выходил из ворот, оно стояло передо мною; с каким наслаждением я часто глядел на него! часто простирал к нему руки, часто называл его знаком, призывал в свидетели моего блаженства! и еще — ах, Шарлотта, где не вспомню о тебе! не ты ли окружаешь меня! не набрал ли я как жадный ребенок всяких мелочей, к которым ты, святая, прикасалась!

Милый силуэт! завещаю его тебе, Шарлотта! прошу тебя, чтить его. Тысячу, тысячу раз я целовал его, тысячу раз прощался с ним, всякий раз, как выходил и приходил.

Я просил отца твоего запискою схоронить мое тело. На кладбище есть две липы, сзади, у самого плетня, к полю; там хочу я лежать. Он может это сделать, он это сделает для своего друга. И ты проси его! Не хочу, чтобы благочестивые христиане лежали рядом с несчастным грешником.

Ах, я желал бы, чтобы вы погребли меня на дороге или в уединенной долине, чтоб жрец и левит прошли с молитвою мимо надписанного камня, а самаритянин уронил слезу на могилу.

Так, Шарлотта! Без трепета берусь за страшную, холодную чашу, из которой выпить мне забвенье смерти! Ты подала мне ее, и я не мешкаю. Кончено! все! все! Так свершились все желания, все надежды моей жизни! Так холодно, так крепко стучат в железные двери смерти.

Если б мне дано было счастье умереть за тебя! Шарлотта; тебе пожертвовать собою! Я бодро, весело бы умер, если б мог возратить тебе спокойствие, блаженство твоей жизни. Но ах! не многим избранным суждено было пролить кровь за своих и своею смертью даровать новую, стократную жизнь друзьям своим!

Похороните меня в этом платье; Шарлотта, ты касалась, освятила его; я уже просил отца твоего о том же. Душа моя носится над гробом. Не обыскивайте моих карманов. Эту розовую

ленту, которая была на груди твоей, когда я в первый раз застал тебя между твоими детьми. О расцелуй их и расскажи им судьбу несчастного их друга. Милая! слышу, как шумят вокруг меня. Ах! как я привязался к тебе! с первой минуты не мог отстать от тебя! —

Эту ленту положите со мною; ты мне подарила ее в день рождения! как жадно я поглощал все это! — Ах, я не знал, что эта дорога доведет меня сюда! — Будь покойна! прошу тебя, будь покойна!

Они заряжены! — Бьет двенадцать! — Так и быть! Шарлотта, Шарлотта! прости! прости!

## ИЗ РАССКАЗА «ВЕЧЕР НА ГОРЕ МОГОЯ»

Рассказ «Вечер на горе Могоя» (Приятное и полезное препровождение времени. СПб., 1794. Ч. 4. С. 309—310) автор подписал «Даурец Номохонь». Он представляет собой излияния влюбленного, который удалился в горы и беседует мысленно с той, кто его «существование наполняет». Собеседниками героя, по его собственному признанию, являются Расин, Юнг, Томсон, Геснер, бессмертный Линей. Но, конечно же, собственную драму несчастной любви герой видит в призме трагической судьбы Вертера.

Уже слабый только сумрак означает место отшествия светила дневного. Лучезарная Венера является над оным во всей лепоте своей. О!

Сколь блистательна звезда сия!.. Ах! оно напоминает мне Вертера, паче прочих созвездий оное любившего; напоминают мне плачевную смерть несчастного сего молодого человека, ставшего жертвою любви наистрастившей! — Переношусь мысленно на гробницу его, обсаженную густыми кипарисами: урна белого мрамора, на возвышенном подножии поставленная, означает могилу несчастного любовника Шарлотты... Зрю и ее, в унынии и задумчивости ко гробу идущую... Она объемлет урну: ручьи слез ся текут по оной... Рыдания задушают ее... Она зовет трепещущим гласом Вертера... Внезапну разверзается земля, и дух его исходит из могилы! Он подает, улыбаясь, руку той, которую сердце его боготворило; но ужас объемлет ея чувства... Она убегает с трепетом, и дух злополучного любовника со стоном нисходит в бездну ничтожества и мрака.

Да будет мирен вечный сон твой — о чрезмеру чувствительный германец! — Сердца нежные воздают хладному твоему праху жертву слез сострадания. И здесь, и в Даурских утесистых хребтах, есть такие сердца; и здесь известна плачевная кончина твоя. — Да, будет мирен вечный сон твой, о Вертер.

## ИЗ РАССКАЗА КНЯЗЯ ПЕТРА ШАЛИКОВА «ВЕСНА»

Опубликован в журн. «Приятное и полезное препровождение времени». М., 1796. Ч. 10. С. 45—47. Как одно время Вертер, лирический герой признается в своей всепоглощающей причастности к миру природы.

Иду в поле приветствовать весну. Чувства мои настраиваются к сладкому удовольствию. — Отшел несколько от города, обращаюсь к нему — безобразная громада зданий, сизый туман, расстилающийся над нею; мысль о непрерывных заботах, неограниченных желаниях, суетности, беспокойствах, живущих в нем, — помрачает душу мою. Отворачиваюсь поспешно, простираю взор мой в пространство поля — душа моя светлеет, сердце оживотворяется... Какое различие! там все пасмурно, угрюмо — здесь все улыбается для счастья, любви и надежды... Священная природа! в садах твоих только может человек познать цену бытия своего и насладиться всею полнотою сердечного удовольствия. Тут чувства мои отдыхают от утруждений своих — иметь с землею, отдыхающей после тяжкого снежного бремени; тут согревается душа моя, бывшая в хладе с бесчувственными людьми, от испарений с ея, тут возникает мысль моя с каждою возникающею травкою, трепещет сердце мое с каждым листочком...



Сидя на изумрудном бугорке, внимаю шуму оттаявших ручьев, порханию птичек, и задумчивость останавливает течение мыслей моих, так как останавливается неколебимо в тихий летний вечер поверхность реки в берегах своих...

Одна меланхолия питает тогда душу мою. Неописанное удовольствие! Иногда хожу в поле с книжкою. Вертер, Новая Элоиза, любимые мои там. Слезы, сердечная дань всему злополучному струятся из очей моих, яркий солнечный луч играет в хрустале их. Часто кроткий свет луны переменяет его на бирюзовом небе перед глазами моими. Я возвращаюсь с весельем, наполнившим всю меру души моей, с живою благодарностью к тому, кто дал мне чувствительное сердце.

В. И. ТУМАНСКИЙ  
ВЕРТЕР К ШАРЛОТЕ.  
(ЗА ЧАС ПЕРЕД СМЕРТЬЮ)<sup>1</sup>

Светильник дней моих печальных угасает,  
Шарлота! чувствую: мой тихий час настал;  
В последний раз твой верный друг взирает  
На те места, где счастье он вкушал.

Но ты моя! Душа в очарованьи  
Сей мыслью сладостной, прелестною полна;

---

<sup>1</sup> Благонамеренный. 1819. Ч. VI. С. 5.

Я видел на устах твоих любви признание,  
И жизнь моя с судьбой примирена.

Когда луна дрожащими лучами  
Мой памятник простой озолотит,  
Приди мечтать о мне и горести слезами  
Ту урну окропи, где друга прах сокрыт.

БИБЛИОГРАФИЯ  
ПЕРВЫХ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ  
РОМАНА ГЕТЕ  
«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА»  
(XVIII—XIX века)

Страсти молодого Вертера. Ч. 1—2. Переведена с немецкого / Пер. Ф. Галченкова при Имп. Акад. наук, иждивением Е. Н. (Емельяна Вильковского). СПб., 1781.

То же. Вторым тиснением. При Имп. Акад. наук. СПб., 1794. (Автор и переводчик не указаны).

Страсти молодого Вертера. Письма 1—2 / Пер. Ф. Галченкова // С.-Петербургский вестник. 1781. Ч. 7. Февраль. С. 138—144.

Страсти молодого Вертера. Соч. г. Гете. С присовокуплением писем Шарлотты к Каролине, писанных во время ее знакомства с Вертером. Вновь переведенные. Ч. 1—2 / Пер. Ф. Галчен-

кова, испр. И. Виноградовым. СПб.: тип. Ф. Мейера. 1796. Ч. 1. 242 с.; Ч. 2. 230 с.

Письмо к другу / Пер. с нем. Андрея Тургенева // Приятное и полезное препровождение времени. СПб., 1798. Ч. 19. С. 107—109. (Перевод письма Вертера от 10 мая. Без указания источника).

Страсти молодого Вертера. Сочинение Гетте с присовокуплением писем Шарлотты к Каролине, писанных во время знакомства с Вертером. Ч. 1—4 / Пер. Ф. Галченкова, испр. И. Виноградовым. М., 1816. Т. 1. Ч. 1. 158 с.; Ч. 2. 157 с.; Т. 2. Ч. 3. 156 с.; Ч. 4. 158 с.

Страдания Вертера / Пер. с нем. Р. Ч. 1—2. М.: тип. А. Семина. 1828—1829. На титуле автор не указан. Перевод принадлежит Н. М. Рожалину.

Вертер. Опыт монографии, с переводом романа Гете «Страдания молодого Вертера» А. Струговщикова. СПб.: тип. т.-в. «Обществ. польза». 1865. LX. 178 с.

Страдания молодого Вертера. Роман Гете. С опытом монографии А. Струговщикова. Кн. 1—2. СПб.: Истомин. 1875. LX. 177 с.

Страдания молодого Вертера. Роман / Пер. А. Струговщикова // Собр. соч. Гете в переводе русских писателей / Ред. Гербель. СПб., 1879. Т. 8. С. 1—105. Изд. 2-е. Т. 2. СПб., 1892. С. 157—227.

Страдания молодого Вертера. Роман / Пер. и статья А. Р. Эйгес. СПб.: Суворин. 1893. 202 с.

Страдания юного Вертера. С предисл. Густава Вендта / Пер. О. Н. Хмелевой. СПб.: Ледерле. 1893. 190 с. (Моя библиотека. № 4, 5).

Составлено по библиографическому указателю: *Житомирская Э. В.* Иоганн Вольфганг Гете. Библиографический указатель русских переводов и литературы на русском языке. 1780—1971 / Под общ. ред. акад. В. М. Жирмунского. М., 1972.





# ПРИЛОЖЕНИЯ



Г. В. Стадников

## ГЕТЕ И ЕГО РОМАН «СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА»

Жизненная предыстория романа «Страдания юного Вертера» начинается в мае 1772 года, когда двадцатитрехлетний лицензиат права Вольфганг Гете прибыл в вольный имперский город Вейцлар. Это небольшое заштатное поселение, в котором насчитывалось не более пяти тысяч жителей, было известно тем, что тут с конца XVII века располагался Имперский суд, призванный рассматривать и решать имущественные и территориальные тяжбы, постоянно возникающие в многочисленных княжествах раздробленной Германии. Здесь по совету отца молодой адвокат Гете должен был совершенствовать свои профессиональные знания. Однако учиться было нечему: стиль работы суда отличался завидным бюрократизмом, состояние дел было жалким, многие тяжбы рассматривались в течение десятилетий, а решения по отдельным искам затягивались на столетие.

Однако деловая сторона пребывания в Вейцларе не особенно волновала Гете. Род его занятий и увлечений был иным: он штудировал Гомера и Пиндара, долгими часами наслаждался красотой



полей и лесов, окружавших город, близко сошелся с группой молодых людей, заполнявших свой досуг игрой в романтический рыцарский орден. Орден имел особый устав, посвящение в рыцари сопровождалось потешным ритуалом и завершалось присвоением нового имени. Гете к тому времени уже написал свою первую трагедию и был наречен именем ее главного героя: «Гец фон Берлихинген честный».

В круг главных прототипов своего будущего романа Гете вступил вскоре после приезда в Вейцлар. 9 июня Гете был приглашен на сельский бал, который в третий день Троицы проводился в предместье Вольпертехаузен, что находилось в полутора часах езды от Вейцлара. Приглашение на бал дополнилось приятным поручением: сопровождать на празднество двух девушек, к которым присоединилась и третья — Шарлотта Буфф.

Лотта была дочерью амтмана, или управляющего имуществом старинного рыцарского ордена, Генриха Адама Буффа. К моменту знакомства Гете с Лоттой Генрих Буфф был вдовцом, на руках которого было одиннадцать детей. Второй по возрасту в этой многочисленной семье была Лотта, которой еще не исполнилось двадцати. Но именно она, а не старшая в семье Каролина, заменила своим младшим сестрам и братьям рано ушедшую из жизни мать.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Подробнее о прототипах романа см.: *Бент М. Вертер, мученик мятежный... Биография одной книги.* Челябинск, 1997.

Первая встреча Гете с Лоттой Буфф произошла именно так, как это будет потом описано в романе. Пленительная в своей безыскусной красоте девушка одаряет малышкой, преданно влюбленных в нее, краяхами хлеба.

Все было так, за исключением двух деталей. В тот день Гете еще не знал, что Лотта помолвлена с секретарем ганноверского посольства при Императорском суде Иоганном Христианом Кестнером; Вертер же знает, что Лотта невеста другого, но пока не придает этому особого значения. И второе — Кестнер, занятый на службе, не мог проводить невесту на бал, но явился туда позже, тогда как в романе третий не нарушил идиллию первой встречи Вертера и Лотты.

Отныне встречи с Лоттой определили жизнь Гете в Вейцларе. Теперь он становится постоянным посетителем дома амтмана. Лотта относилась к своему обожателю дружелюбно, Кестнер проявлял такт и терпимость к поклоннику своей невесты. Сам же Гете, как он спустя много лет признается И. П. Эккерману: «...жил, любил и очень страдал».<sup>2</sup>

Так минуло три месяца. Положение становилось мучительным для всех троих. И Гете принимает твердое решение покинуть Вейцлар. Последний вечер перед отъездом Гете Лотта и Кестнер проводят вместе. Говорят о загробной

---

<sup>2</sup> Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981. С. 467.

жизни, о возможной встрече душ после смерти, а на следующее утро получают прощальные письма, в которых Гете продолжил начатый накануне разговор.

Из письма к Кестнеру: «Он ушел, Кестнер, когда Вы получите это письмецо, знайте, что он ушел. Передайте Лотхен прилагаемую записку. Я держал себя в руках, но беседа с Вами растерзала меня. В эту минуту я не могу сказать Вам ничего, кроме — прощайте. Останься я у Вас на одно мгновение дольше, и я бы не выдержал. Теперь я один и завтра уезжаю. О моя бедная голова!»<sup>3</sup>

Из письма к Лотте: «Он ушел. Какой дух навел вас на этот разговор? Если б я мог высказать все, что я чувствовал! Ах, меня занимал только здешний мир, только то, что я в последний раз целую вашу руку (...). Я оставляю вас счастливыми, но не ухожу из ваших сердец. Да, я опять увижу вас, но не завтра — значит, никогда».<sup>4</sup>

Гете уехал из Вейцлара 11 сентября. И хотя замысел романа еще не родился, его основную фабулу уже сочинила сама жизнь.

А вскоре жизнь подсказала и развязку. В начале ноября того же года, когда Гете находился во Франкфурте, пришло письмо от Кестнера. В нем содержалось известие о самоубийстве из-за несчастной любви секретаря брауншвейгского по-

---

<sup>3</sup> Гете. Собр. соч.: В 13-ти т. М., 1948. Т. XII. С. 127—128.

<sup>4</sup> Там же. С. 128.

сольства Карла Вильгельма Иерузалема. Близко к тому, что напишет Кестнер об обстоятельствах смерти Иерузалема, будет сказано в романе о кончине Вертера. И завершит роман лаконичная строка, принадлежащая Кестнеру: «Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его». И еще одна жизненная деталь, имеющая своеобразный отклик в будущей книге. Самоубийца стрелял из пистолета, который принадлежал Кестнеру. Записка Иерузалема к Кестнеру с просьбой одолжить пистолеты для предполагаемого путешествия, уже от имени Вертера адресованная Альберту, почти без изменений войдет в роман. Добавим к тому же, что на столе Иерузалема в предсмертные часы, как это будет и у героя романа, лежала раскрытой трагедия Лессинга «Эмилия Галотти».

Трагический итог жизни Иерузалема потряс Гете. Обстоятельства, подготовившие его смерть, были до боли знакомы Гете. Мрачные переживания не оставляли его и после отъезда из Вейцлара, чувство к Лотте не угасало. Уже вскоре Гете пишет письмо Лотте, где есть строки: «Вы всегда со мной, и за это да дарует Вам небесный властитель лучшие плоды своего сада, и если он откажет в них на земле, то да ниспошлет их там, в раю, где студенья ручьи текут под пальмами и плоды свисают с них, как слитки золота, а пока что — хоть бы один часок побывать у Вас».<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Гете. Собр. соч.: В 13-ти т. Т. XII. С. 130.

Силуэт Лотты висит в комнате Гете: возлюбленная мысленно всегда рядом с ним. Но, отвечая на письмо Кестнера, Гете заметно укрупняет трагедию Иерусалема — виной всему была не только несчастная любовь, но и неблагоприятное положение общества, которое окружало добровольно ушедшего из жизни.

«Несчастный Иерусалем! Известие было для меня страшным и неожиданным... Несчастный! Но эти дьяволы, эти подлые люди, не умеющие наслаждаться ничем, кроме отбросов суеты, воздвигшие в своем сердце кумирни сластолюбия, идолопоклонствующие, препятствующие добрым начинаниям, ни в чем не знающие меры и подтачивающие наши силы! Они виноваты в этом несчастье! в нашем несчастье... Бедный малый! Когда я возвращался с прогулок и встречал его бредущим при лунном свете, я думал, что он влюблен. Лотта, вероятно, еще помнит, как я над ним подсмеивался. А один Бог ведал, какое одиночество было погребено в его сердце».<sup>6</sup>

Будущая книга уже вызревала в сознании ее творца, она находила свое выражение в заметках, строчках писем. Но время окончательного сотворения книги еще не наступило. Так прошел год 1773. Год, когда были созданы драматические отрывки «Прометей» и «Магомет», написаны фарсы и маленькие пьесы, завершена

---

<sup>6</sup> Гете. Собр. соч.: В 13-ти т. Т. XII. С. 130—131.

вторая редакция трагедии «Гецц фон Берлихинген». Но это был и год, который одарил Гете новыми жизненными впечатлениями, которые оказались нужными для будущей книги. Вскоре после отъезда из Вейцлара Гете познакомился с писательницей Софи де Ларош и увлекся ее старшей дочерью красавицей Максимилианой. Макса, как звали ее в семье, была просватана за богатого франкфуртского купца, тридцатипятилетнего вдовца Петера Brentано, отца пятерых детей. В январе 1774 года Максимилиана вышла замуж за Brentано.<sup>7</sup> Гете не прерывал общения с Максимилианой, чему решительно воспротивился Brentано. На этой почве между супругами произошло бурное столкновение, а в итоге Гете было отказано в посещении их дома. Так жизнь добавила новые штрихи к развязке будущего романа и как бы дала последний импульс к его рождению. Оставалось все занести на бумагу. И в феврале 1774 года, в течение четырех недель, пролетевших как одно мгновение, роман был написан.

Спустя много лет Гете имел полное право признаться И. П. Эккерману: «Это создание, я, как пеликан, вскормил кровью собственного сердца и столько в него вложил из того, что таилось в

---

<sup>7</sup> Свое имя Максимилиана вписала в историю литературы не только благодаря знакомству с Гете. Максимилиана стала матерью известных немецких романтиков — Клеменса Brentано и его сестры, в замужестве Беттины фон Арним.

моей душе, столько чувств и мыслей, что, право, их хватило бы на десяток таких томиков».<sup>8</sup>

Таковы жизненные события и реальные прототипы романа. Однако какова же была степень биографического и вымышленного в романе? Ответ на этот вопрос лучше всего поискать у самого Гете.

Спустя много лет, работая над своей автобиографической книгой «Поэзия и правда», Гете как биограф и литературный критик еще раз вернулся к истории создания своего юношеского романа. Осмысливая прошлое, Гете считал нужным специально подчеркнуть, что никогда не подчинял свою жизнь практическим задачам литературных замыслов. Знакомство с секретарем ганноверского посольства в Вейцларе и его невестой Лоттой, «дивно прекрасное лето», проведенное втроем, овеянное «невинной любовью» и похожее на «настоящую немецкую идиллию», знакомство и общение со служащим посольства Иерузалемом, безнадежно влюбленным в жену своего начальника, — все это, казалось, не предвещало создание романа. Эти факты жизни лежали в ряду других, которые произошли в то время и о которых Гете специальных книг не написал. Вместе с тем еще задолго до этих событий Гете все сильнее испытывал на себе влияние идей и настроений, имевших далеко не личный характер.

---

<sup>8</sup> Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. С. 466.

Яркое поэтическое отражение они получили в английской литературе, очень популярной в те годы в Германии. В «Поэзии и правде» Гете отмечает, что трагический, рефлектирующий тип сознания он находил уже в «мрачной душевной настроенности шекспировского Гамлета». Поразило его трагическое мироощущение Мильтона, как и меланхолическая скорбь поэм Оссиана. Но особенно отчетливо ноты меланхолии и сплина дали о себе знать в поэзии английских сентименталистов — Грея и Голдсмита, достигая своего апогея в «Ночных думах» Юнга. Этот поэт был хорошо известен в Германии уже в 50-е годы благодаря неутомимой деятельности его немецкого переводчика Иоганна-Арнольда Эберта.

Естественно, у Гете речь шла не об «импорте» трагического мироощущения из Англии в Германию. Писатель обращал внимание лишь на сходство немецких и английских обстоятельств жизни, породивших такое настроение. Безысходная ситуация, в которой оказался человек, имела под собой конкретную социально-историческую почву. Попытки реализовать свой ум и талант в реальных жизненных условиях, как правило, заканчивались крахом. «Многие испытали себя в делах политических, играя главные или второстепенные роли в парламенте, при дворе, в министерствах, на посольских должностях; они деятельно участвовали во внутренних смутах, в государственных и правительственных переворотах, и многое познали если не на собственном опыте, то на опыте своих



друзей и покровителей, чаще печальном, чем отрадном. Многие были высланы, изгнаны, сидели в тюрьмах, теряли все свое имущество!»<sup>9</sup>

Тягучая безысходность бюргерской жизни, отсутствие какого-либо выхода в настоящем и полная утрата веры в лучшее будущее рождали настроение отчаяния. Формировалось и крепло мироощущение, в основе которого лежало представление о бренности всего земного. Раскрывая истоки этого явления, Гете видел корень зла в невероятном эгоизме современного человека, который в ответ на невзгоды жизни сознательно уходил в собственный внутренний мир, решительно устраняясь от окружающего. Мерой всего становилась личная трагедия, непрекращающийся самоанализ парализовывал действие. И хотя самоуглубление было формой протеста по отношению к миру, протест такого рода не врачевал, а лишь обострял трагедию личности.

Желание разобраться в природе трагического мироощущения, найти путь его преодоления в течение нескольких лет не давали покоя Гете. Но единственным лекарем его душевных ран было творчество как органичная жизнедеятельная потребность, как высшая форма исповедальности. Именно творчество дарило Гете катарсис. Но не хватало «события-фабулы», которая могла бы вобрать и отразить весь комплекс буруеваемых

---

<sup>9</sup> Гете И. В. Из моей жизни. Поэзия и правда. М., 1969. С. 418.

Гете чувств. И жизнь подсказала фабулу. Создание романа стало для Гете освобождением от настроения гнетущего отчаяния. Впоследствии писатель признавался: «Но если я, преобразовав действительность в поэзию, отныне чувствовал себя свободным и просветленным, то мои друзья, напротив, ошибочно полагали, что следует поэзию преобразовать в действительность, разыграть такой роман в жизни и, пожалуй, еще и застрелиться».<sup>10</sup> Гете говорил, что в его книге нашли отражение «юношеская хандра», «разбитое счастье», «прерванная деятельность, неудовлетворенное желание».<sup>11</sup> От «воли к смерти» Гете спасла работа над «Вертером». По замечанию Гегеля, Гете в своем романе «описал кризис и исцеление, данное ему творчеством».<sup>12</sup> Несколько позже Гете испытал нечто подобное, создавая драму «Торквато Тассо». Работа над пьесой, как некогда над романом, позволила ему избавиться «от тяжелых и болезненных впечатлений».<sup>13</sup>

В романе Гете личное, биографическое не было искусственно привязано к уже сложившемуся кругу идей. Книга рождалась на основе

---

<sup>10</sup> Гете И. В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 424.

<sup>11</sup> Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. С. 467—468.

<sup>12</sup> Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4-х т. М., 1973. Т. 4. С. 471.

<sup>13</sup> Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. С. 527.

нерасторжимого единства частного и общего, жизненного факта и художественного обобщения. В синтезирующем процессе творчества формировалось новое качество, не равное простому сложению составляющих его частей. Вычленив в произведении «биографическую правду» — значило бы убить само произведение. Это отчетливо понимал Гете, никогда не отождествляя природу и искусство, не уравнивая жизнь со своими творениями. Действительным фактам могли соответствовать отдельные ситуации, фабульные положения, детали обстановки. Но в целом — все было переплавлено творческой фантазией поэта. Не случайно Гете так раздражали вопросы о том, что в его книге «правда, а что поэтический вымысел».<sup>14</sup> В том же ключе решался и вопрос о прототипе литературного героя. Как считал Гете, в художественном образе воплощено индивидуально-неповторимое, характерное для отдельной личности и общее — присущее многим людям, и, наконец, вымышленное. В этом сплаве рождался образ, не сводимый к определенному лицу. Судьба Иерусалема послужила лишь толчком к созданию образа Вертера. Не равен Вертер и личности автора, хотя Гете и многое передал герою из пережитого им самим. В такой же степени это относится к образу героини: «Я позволил себе создать свою Лотту из обличей и свойств многих прелестниц, хотя главные черты и были мной

---

<sup>14</sup> Гете И. В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 446.

позаимствованы у любимейшей <...> любопытствующая публика открыла в ней сходство со многими женщинами».<sup>15</sup>

Опыт работы над «Страданиями юного Вертера» позволил Гете высказать в «Поэзии и правде» одно из ключевых положений своей эстетической программы: литературное произведение — не копия жизни, какие бы интимные переживания не отражал в нем автор. Пересозданное поэтическим воображением поэта личное перестает быть только личным, в нем раскрывается типичное и характерное. «Пожелай автор удовлетворить требованиям любопытствующих, показав им то, что соответствует доподлинным фактам, ему пришлось бы растерзать свое творенье <...> сызнова разрушить его форму, и если не уничтожить составные его части, то уж непременно расчленив их, а тем самым растерять».<sup>16</sup>

В «Поэзии и правде» показано, как по мере оформления замысла романа определялись контуры его структуры. Для выражения глубоко интимного характера чувств героя нужна была эпистолярная форма, граничащая с исповедальностью дневниковых записей. Но это не мог быть роман типа «Новой Элоизы» Руссо, состоящий из переписки многих персонажей. Особое «меланхолическое» настроение Вертера требовало, чтобы оно изливалось в общении с близким другом, а тем

---

<sup>15</sup> Там же. С. 427.

<sup>16</sup> Гете И. В. Там же.

самым, чтобы все письма были написаны одним героем и адресованы только одному лицу. Так для содержания книги была найдена единственно возможная форма. И именно эта форма позволила раскрыть всю глубину сердечных переживаний героя.

Роман впервые увидел свет весной 1774 года, когда лейпцигское издательство Вейганда выпустило 1500 экземпляров «Страданий юного Вертера».

Однако книга Гете не осталась доподлинно такой, какой она впервые предстала перед читателем. В 1786 году, готовя к изданию свое собрание сочинений, Гете установил окончательный текст романа. Коррективы не носили принципиального характера, но придали повествованию несколько новую тональность. Стилистические поправки отчасти приглушили пыл и страстность, которые питала атмосфера «Бури и натиска». Доброжелательней стала характеристика Альберта, был введен новый эпизод: история крестьянского парня, в состоянии любовного аффекта совершившего убийство. Так определился окончательный текст романа. Спустя много лет, в январе 1824 года, Гете признался Эккерману: «Я всего один раз прочел эту книжку, после того как она вышла в свет, и поостерегся сделать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла».<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. С. 466.

Но перелистаем страницы книги.

Роман Гете — страстная исповедь безмерно любящего и остро страдающего сердца, лирический дневник в письмах. Но это и роман со строго продуманной композицией, своеобразная моно-трагедия со всеми структурными компонентами классической драмы. Если в своей юношеской трагедии «Гец фон Берлихинген» Гете, нарушая все каноны образцовой драматургической техники, развернул действие во всей эпической широте места и длительности времени действия, изобразил множество героев в самых неожиданных жизненных ситуациях, то роман строится по законам классической композиции, в которой можно усмотреть экспозицию, завязку, кульминацию и развязку. Легко обозримы место и время происходящих событий, строго ограничен круг героев: на авансцене три лица, все другие персонажи появляются эпизодично, так или иначе разъясняя или комментируя центральную коллизию.

Десять первых писем, охватывающих период с 4 мая по 16 июня, — время весеннего цветения природы и вступление ее в пору жаркого лета — экспозиция, подготавливающая завязку будущей драмы. Прежде чем вступить в действие, герой должен представиться читателю, рассказать о том, как он смотрит на мир и окружающих его людей, как он понимает самого себя. Эти письма — своеобразная визитная карточка души героя, стоящего на пороге великих испытаний. Экспозиция отвечает классическим канонам тра-

гедийной композиции — герой счастлив, окружающий мир прекрасен, их союз гармоничен и, казалось бы, неразрушим. Уже первое письмо Вертера ясно и полно разъясняет его жизненную программу: наслаждаться душевным покоем на лоне прекрасной природы, не терзать себя из-за мелких невзгод, не развивать в себе силу воображения, вспоминая о прежних бедах. Идеал Вертера — одиночество, но не как форма отречения от всего, а, напротив, как путь к высшему единству — единству с мирозданием. Свою собственную жизнь он желал бы слить с жизнью всего живого, он хотел бы стать «майским жуком, чтобы плавать в море благоуханий и насыщаться ими». Здесь не только во всей полноте воссоздается руссоистский культ природы, но своеобразно предвосхищается обожествленный миф иенских романтиков о «золотом веке», оставшемся в далеком прошлом, но час возвращения которого неотвратим.

Лишь спустя шесть дней написано Вертером второе письмо. Это самый длительный промежуток по времени, который разделяет письма, составляющие экспозицию романа. Долгая пауза между первым и вторым письмом имеет свой особый смысл: написанное раньше не было минутным порывом. Упоение счастьем и душевным покоем — пока стойкое жизненное состояние героя. Мир природы, душевный покой дарят Вертеру блаженство жизни, раскрывают безмерные глубины его внутреннего существа. Он ху-

дожник, как никто другой поэтично видящий мир, он юноша, жаждущий любви, живущий в трепетном предчувствии встречи с неизвестной пока возлюбленной.

Остальные восемь писем дополняют и углубляют портрет героя. Из писем становится ясно, что пылкое воображение Вертера способно творить особый мир, превращая в рай бесхитростную жизнь сельчан, видеть в ней ту простоту и величие гомеровского времени, когда царские дочери не гнушались приходиться за водой к горным ручьям и колодцам. В этом овеянном поэзией патриархальном мире, мире детства человечества, которому Гомер пел свою «колыбельную песнь», Вертер ищет умиротворения своей «мятежной крови». Чуткий и отзывчивый к чужим болям и радостям, Вертер легко находит общий язык с простыми людьми, долгие часы проводит в общении с детьми. Вертер не одинок, и окружающее совсем не безразлично ему, и тем не менее главный предмет его интереса — он сам, его собственный внутренний мир. Вертер стремится полнее постичь себя и вынужден признаться, что в нем таятся другие «без пользы отмирающие силы», которые он «принужден тщательно скрывать». Так намечается основная тема романа: история переменчивого и непредсказуемого развития внутреннего мира героя.

Первые пять писем достаточно полно раскрывают круг духовных интересов и сердечных порывов Вертера. В шестое письмо включена любо-



пытная интермедия. Вертер рассказывает о своей беседе с неким Ф., общительным молодым человеком. Этот персонаж больше не появится на страницах книги. И этот на первый взгляд случайный эпизод имеет, очевидно, единственную цель — дополнить портрет Вертера, очертив многообразие его интеллектуальных интересов. Вертер владеет греческим языком, обстоятельно посвящен в вопросы философии и искусствознания, он приверженец эстетической программы, свободной от догматов классицизма. В последующих письмах, развивая свои взгляды, Вертер будет сближать искусство и жизнь, полагая, что, как и в творчестве, в любви могут быть только два пути.

Один путь — это следовать установленным законам и правилам, всегда оставаться в границах общепринятого, руководствоваться требованиями холодного разума и видеть мир лишь в однозначной плоской реальности. И другой путь — жить сердцем, ни в чем не ущемлять свою личную свободу, во всей полноте отдаваться любви и любимому делу. Это путь немногих, путь самого Вертера. Однако благостная свобода, о которой говорит Вертер, таит в себе и нечто тревожное: право по собственному желанию уйти из этого мира. Ведь тот, кто строит свой мир в самом себе, в душе «хранит сладостное чувство свободы и сознание, что может вырваться из этой темницы, когда пожелает».

Два последних письма, завершающих экспозицию, содержат рассказ Вертера о двух его

знакомствах: с детьми большого и дружного семейства, глава которого уехал в Швейцарию получать наследство после умершего родственника; и с крестьянским парнем, беззаветно влюбленным во вдову, у которой служит в работниках. Обе эти истории будут иметь трагическое завершение. Но в экспозиции романа все еще счастливы. Мир новых знакомых Вертера дан в традиции пасторальных идиллий: в окружении прекрасной природы счастливая семья и столь же счастливый влюбленный. Экспозиция завершается апофеозом гармонии. Но выдержит ли эта гармония испытание реальной жизнью? Ответ на этот главный вопрос еще впереди.

Завязка романа — письмо от 16 июня — одно из самых больших по объему. Вертер знакомится с Лоттой, узнает о том, что она невеста другого, и по воле судьбы вступает в ситуацию рокового треугольника, ситуацию, которая неизбежно потребует своего жестокого разрешения. Но герой безмерно поглощен своей любовью и не задумывается над будущим. И пока лишь природа предсказывает трагическую развязку — самые заветные мгновения первой встречи Вертера и Лотты проходят на фоне разбушевавшейся грозы.

Для Вертера встреча с Лоттой — обретение в жизни того идеала возлюбленной, который уже жил в его пылком воображении. Вертер смотрит на Лотту глазами поэта, он многое приписывает ей, он творит ее образ таким, каким хочет его

видеть. Лотта является как бы из патриархальных гомеровских времен, она — любящая дочь и заботливая мать своим младшим братьям и сестрам — олицетворяет собой светлые радости домашнего очага; она — воплощение природной красоты и естественности. Пытаясь нарисовать словесный портрет Лотты, Вертер сразу же отбрасывает слово «ангел». Лотта — воплощение земной, зримой красоты. У нее «черные глаза», «выразительные губы, свежие цветущие щеки». Для Вертера она идеал: в ней гармонично сочетается «простосердечие и ум, доброта и твердость, душевное спокойствие и живость деятельной натуры». У Лотты тонкий художественный вкус, она прекрасно танцует, любит музыку, много читает. Лотта заполняет все чувства, все помыслы Вертера. И он ловит каждый ее взгляд, отмечает любой ее жест, искренне полагая, что в сердце Лотты у него нет соперника. Вертер еще не осознает, что он и Лотта — люди разных миров. Он мечтатель, живущий в воображаемом, идеальном мире, она — дитя мира бюргерского, полностью подчиненная его повседневным заботам и трудам, установлениям и правилам. И хотя порыв чувств Вертера находит отклик в душе Лотты, а порой их сердца бьются в унисон — союз их невозможен. Но Вертер подобно протагонисту шекспировской трагедии, вступая в действие, во многом обольщается, он не видит мир в его реальной сути. Вертер стоит у истоков трудного пути к прозрению. И первый шаг на этом

пути — лаконичная фраза, открывающая письмо от 30 июля: «Приехал Альберт, и мне надо удалиться». Добрая часть этого письма посвящена характеристике Альберта. Вертер, рассказывая о своем сопернике, стремится быть предельно объективным. Оценка Альберта, содержащаяся в этом письме, важный штрих к портрету самого Вертера — он справедлив по отношению к людям вопреки личным симпатиям и антипатиям. Но характеристика Альберта приобретает особое значение в свете основной коллизии романа. Гете хотелось подчеркнуть (и, как уже говорилось, он дополнительно акцентировал на этом внимание во второй редакции романа), что Альберт не злодей, не отрицательный герой. Он «милый и славный», он деликатен, доброжелателен, он безупречно относится к своему делу, «ему нет равных по расторопности и усердию». Альберт — безупречный герой. Но герой иного мира, чем мир Вертера. Это главное, коренное различие между Вертером и Альбертом проявляется не сразу. В спорах, которые очень скоро начинают возникать между ними, это обнаруживается постепенно все острее и нагляднее. Альберт — практик, человек, полагающийся лишь на свой разум, он убежден: чувства и страсти можно подчинить своей воле. Альберт — человек меры, закона и порядка. Вертер, напротив, беспредельно свободно отдается миру чувств. Он убежден, что есть некие высшие законы человеческого бытия, над которыми не властна наша личная воля. Сила челове-

ческих страстей безгранична, их власть — все- сильна. И тот же самоубийца уходит из жизни не столько согласно принятому разумом решению, сколько в силу абсолютной неотвратимости подобного финала, назначенного самой судьбой. Так это потом и произошло с Вертером. Но объяснит он это уже в одном из первых споров с Альбертом. «Человеческой природе положен определенный предел. Человек может сносить радость, горе, боль, ложь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет. Значит, вопрос не в том, силен он или слаб, а может ли он претерпеть меру своих страданий, все равно душевных или физических...»

После приезда Альберта в укладе жизни Вертера ничего не меняется: он по-прежнему на правах друга дома посещает Лотту, Альберт же терпимо относится к этим визитам. Действие в романе фактически не реализует себя в событиях внешних, но с необычайной интенсивностью проявляется во внутренней сфере, в мире чувств, в мире сердца Вертера. Любовь заполняет всю жизнь героя, но он все острее осознает ее трагическую обреченность. Это убивает его жизненные силы, природа утрачивает для него свою прелесть, и прежнее зрелище бесконечной жизни превращается для него в «бездну вечно отверстой могилы». Гаснет творческое воображение Вертера, его рука больше не тянется к книге. Душевный кризис столь тяжел, что, кажется, жизнь героя неуклонно приближается к трагическому

финалу. Сам Вертер предсказывает этот финал в одном из писем: «Я не вижу иного конца этим терзаниям кроме могилы». Прозрачный намек на такой финал содержится в сцене, где впервые появляются пистолеты Альберта, из которых позже прозвучит роковой выстрел Вертера. Однако жизнь героя не прервалась в эти дни. И только потому, что у него еще оставалась возможность заполнить свою жизнь работой. Так действие в романе получает импульс извне, и кульминация драмы не наступает. Завершается лишь один жизненный круг героев.

В двух первых письмах, написанных Вертером после приезда на новое место, слышится робкая надежда на то, что чувству любви, целиком заполнившему его существо, может найтись замена — это служба в канцелярии посланника («самое главное, что дела достаточно») и общение с новыми знакомыми: графом К. и девицей фон Б. О Лотте он не упоминает, словно она навсегда ушла из его жизни. Но очень скоро становится ясно, что это самообман — ни то ни другое не может вернуть Вертеру прежней полноты жизни. Работа у посланника — «иссушающее мозг, монотонное исполнение бессмысленных догматических установлений». В канцелярии «педантичного дурака» исключен самый малейший намек на творческую самостоятельность. Успех здесь ожидает только того, кто полностью подавит в себе личность. А дружба с графом К. и общение с девицей фон Б. завершаются для Вер-

тера незаживающей душевной раной. Вертеру дают понять, что он должен всегда помнить о своем месте в обществе. И как бы ни был доброжелателен граф К., как бы ни была сердечна и отзывчива девица фон Б., но и они не способны переступить сословные предрассудки. И их мир — не мир Вертера. Все больше осознает Вертер свое трагическое одиночество, все больше чувствует он себя лишним человеком. Десять писем и кратких записей, охватывающих период с 20 февраля по 16 июля, — кульминационные в романе. Вертера словно преследует злой рок. Его жизнь — нескончаемая цепь трагических утрат и несбыточных надежд. Лотта выходит замуж за Альберта, расстраиваются отношения с графом К., затем — отставка и твердое намерение никогда не связывать себя со службой, паломничество по родным местам как окончательное прощание со временем «счастливого неведения», недолгое общение с неким князем, неосуществившийся замысел пойти на войну — и возвращение в Вальхейм. Но это возвращение на пепелище. Вертер отчетливо понимает: успокоения ему нигде не найти. Он одинок, он отвержен, он «только странник, только скиталец на земле».

После кульминации путь Вертера к трагическому финалу становится необратимым. Он целиком уходит в самого себя, отдается своим страданиям целиком.

Любовь к Лотте оказывается единственным смыслом в жизни героя. Но эта неудовлетворен-

ная любовь-страсть губительно надломилась его личность. У Вертера появляются мысли о том, что все могло бы разрешиться, если бы Альберт умер. В мечтах героя возникают картины, недостижимые в жизни: Лотта стала его женой, записка Лотты, адресованная Альберту, принадлежит ему, Вертеру.

Ситуация усугубляется и самой Лоттой. Оставаясь верной женой Альберта, она вольно или невольно поощряет любовь Вертера и тем самым вносит еще больший раздор в его душу. И Вертер не может не видеть этого. Так все происходит в сцене, когда Лотта нежно прикасается губами к клюву канарейки, а затем передает птичку Вертеру для ответного поцелуя. «Зачем она это делает?» — восклицает про себя Вертер и в одной из последующих записей обреченно замечает: «Она не видит, не понимает, что сама готовит смертельную отраву для меня и для себя: но с упоением пью до дна кубок, который она протягивает на мою погибель».

Личная трагедия героя однотонно окрашивает все окружающее и многократно усиливается целым рядом событий. Вступает в осень и близится к холодному ненастью зимы природа, которая кажется теперь Вертеру «мертвой, прилизанной картинкой». Углубляется чувство одиночества, и Вертер утверждает в мысли, что даже для Лотты и Альберта он всего лишь временный знакомый, отсутствие которого они очень скоро не будут замечать. Славящий утро жизни Гомер



больше не волнует Вертера, любимым его чтением отныне становится мрачная муза Оссиана. А вместе с этим целая цепь печальных событий: счастливое семейство, с детьми которого Вертер трогательно дружил, в глубоком горе — умер младший в семье мальчик, смертельно болен хозяин дома. Безжалостно срублены великолепные ореховые деревья у дома пастора. Происходит ранящая душу Вертера встреча с юношей, который впал в безумие от неразделенной любви. И предметом этой любви, которую он тайл и не мог скрыть, была Лотта.

Все, буквально все предвещает трагический конец Вертера, и не раз он напишет, что последнюю точку в своей жизни готов поставить сам: «...мне часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу».

Трагедия Вертера, как она предстает в его письмах, имеет два неразделимых источника. Один внешний, исторически-социально конкретный, и другой — внутренний, отражающий склад личности особого типа. В этом свете трагедия Вертера определяется той общественной ситуацией, которая сложилась в Германии в последние десятилетия XVIII века: порядки и законы, государственные институты, господствующие сословные предрассудки оказались в глубоком противоречии с устремлениями отдельной личности, достигшей высокого уровня самосознания. Этой личности было мучительно трудно в реальных обстоятельствах бытия, ей негде было проявить

свой ум, ей нечем было заполнить свои чувства. Личность эта остро осознавала свое одиночество и отверженность. Но она не знала реального выхода из тупика. Оставался либо путь стихийного бунтарства, который лишь усугублял ситуацию, либо путь в иллюзорный мир мечты, мир, который неотвратимо разрушала в конце концов действительность. Но вместе с тем в трагедии Вертера есть и такое, что не объясняется ситуацией конкретного времени. Вертер — особый общечеловеческий тип личности, способной жить только жизнью своего сердца. Вертер сам понимает, что не ум и дарование, а именно сердце — единственная его гордость, «источник всего, всей силы, всех радостей и страданий».

Начало «пятого акта» драмы Вертера четко обозначено. Это раздел «От издателя к читателю». Теперь письма и краткие записки Вертера даны в обрамлении слов рассказчика, цель которого доподлинно пересказать все то, что произошло дальше. Подобная структура повествования указывает: все, что пишет Вертер, имеет слишком субъективный характер. Он видит все в свете собственной драмы, и мир предстает перед ним лишь в мрачном свете. Взгляд со стороны издателя корректирует суждения Вертера и тем полнее обнажает его душевное смятение.

Пережитое надломило характер Вертера. Он утратил живость ума, стал раздражительным, а порой и несправедливым. Он сам признается, что похож на тех, кто «одержим злым духом», что-то

непонятное бушует в нем, «грозит разорвать грудь, перехватывает дыхание».

Вертер раздваивается. Упрекая себя за то, что нарушает семейный покой Лотты, он в то же время считает, что Альберт не сможет дать ей счастья. Он понимает, что должен оставить мечты о ней, но и дня прожить не может, не увидев возлюбленную.

Предвестием трагического финала становится потрясшее всех событие: крестьянский парень в затмении ревности совершил убийство. В жарком споре с амтманом и Альбертом Вертер пытается защитить несчастного, опосредованно защищая и свои иногда возникающие недозволенные помыслы. Не случайно неоспоримый приговор, который выносит амтман убийце: «Ему нет прощения», Вертер переносит на самого себя. История крестьянского парня и история безумного Генриха — это печальные итоги той ситуации, в которой находился и сам Вертер. Но он не повторил ни то ни другое. Совершить насилие над своим соперником Вертер не может — это в корне противоречит его мягкой и ранимой натуре, хотя в минуты отчаяния он в мыслях был готов к самому страшному. Вертер тверд в своем разуме: несмотря на бурное смятение чувств, он тщательно и продуманно готовит свой уход из жизни, пишет прощальные письма, дает распоряжения о своем имуществе, не забывает оставить деньги для раздачи бедным. Вертеру был назначен трудный путь — добровольный уход из жизни. Так,

в романе Гете дано несколько финалов истории неразделенной любви, но все с неизменным трагическим исходом.

Ключевая сцена «пятого акта» — последнее свидание Лотты и Вертера. Здесь многое напоминает о первой встрече героев. В ту чудную грозовую ночь чувства, охватившие молодых людей, заставили их сердца биться в нерасторжимом единстве. Таким было утро их любви. Все только начиналось и представлялось прекрасным. Теперь же все пришло к концу. И были слезы — и тогда и теперь. Сначала слезы умиления и радости, теперь — горя и отчаяния. Тогда их объединяли животворные строки Клопштока, славящего наступление весны, теперь мрачные стихи Оссиана, предрекающие смерть.

Последние часы своей жизни Вертер провел наедине с природой. Он вернулся к природе, желая найти в ней свое вечное существование. Он хотел бы верить, что как в природе окончательно ничто не умирает, а лишь преобразуется в иное, так и жизнь человека вечна. И там, за гробом, он вновь обретет тех, кого любил здесь.

На этом день его жизни был завершен — роковой выстрел раздался в полночь.

Как уже отмечалось, роман Гете «Страдания юного Вертера» впервые был издан весной 1774 года и разошелся на редкость быстро. Вскоре понадобилось второе издание. Не заставили себя ждать и многочисленные пиратские выпуски. Успех романа был невероятным, равнодуш-

ных среди читателей не было. Однако отношение к книге было неоднозначным. Молодые приняли роман безоговорочно. Очень скоро возникла мода на Вертера. Среди восторженных поклонников Вертера появились и такие, кто судьбу литературного героя повторил доподлинно, покончив жизнь самоубийством. Это побудило Гете при издании второго тиража предпослать к первой и второй частям романа специальные эпиграфы, предостерегающие от попытки повторить судьбу Вертера. Эпиграф к первой части гласил:

Так любить влюбленный каждый хочет,  
Хочет дева быть любимой так.  
Ах! Зачем порыв святейший точит  
Скорби ключ и близит вечный мрак!

(Перевод С. Соловьева)

Эпиграф ко второй части содержал прямое поучение:

Ты его оплакиваешь, милый,  
Хочешь имя доброе спасти?  
«Мужем будь, — он шепчет из могилы, —  
Не иди по моему пути».

(Перевод С. Соловьева)

Просветители отдавали дань художественным достоинствам книги, но ставили под сомнение ее воспитательное воздействие на читателя. Осуждению подлежал меланхолический настрой главного героя, его пассивный протест, выразившийся в добровольном уходе из жизни. Наиболее характерным в этом отношении был отзыв Лессинга, содержащийся в письме к Эшенбургу от 26 ок-

тября 1774 года. Отзыв начинался несомненной похвалой книги: «Тысячи благодарностей за удовольствие, которое вы мне доставили присылкой гетевского романа. Еще несколько дней назад я отослал его вам, чтобы и другие могли получить это удовольствие». Однако далее тревожное предостережение просветителя: «Читатель может легко принять поэтические красоты за красоту моральную и поверить, что герой, вызывающий столь сильное участие, должен воплощать добро. А это вовсе не так. Да если бы дух нашего И[ерусалема] находился совершенно в таком состоянии, я должен был бы почти презирать его. Думаете ли вы, что римский или греческий юноша таким образом и по такой причине лишил бы себя жизни? Разумеется, нет».<sup>18</sup>

Отношение к книге официальных властей и духовенства было полностью отрицательным. Против книги решительно высказался теологический факультет в Лейпциге, в результате чего появилось распоряжение книжной комиссии саксонского курфюрста от 30 января 1775 года, категорически запрещающее продажу романа. Пастор Н. М. Геце, известный своими нападка на Лессинга, посвятил роману обширный критический разбор, обвиняя автора книги в «безбожии», нарушении христианских заповедей. Было и много других хулителей книги, причем больше всего критических стрел пришлось на финал ро-

---

<sup>18</sup> Lessings Briefe. In einem Band. Weimar, 1983. S. 311.

мана — самоубийство героя. При этом образ Вертера порой отождествлялся с личностью самого Гете. Сам же автор романа никогда не переносил критику героя на себя. В автобиографической книге «Поэзия и правда», написанной спустя несколько десятилетий, Гете рассказал, как спокойно воспринял пародии на своего героя. Вместе с друзьями он не только потешался над сочинением Николаи «Радости юного Вертера», но и написал к нему забавное продолжение. Вертер, стреляясь куриной кровью, остается жив, но выбивает себе оба глаза. Теперь он в отчаянии, ибо не видит прекрасного облика Лотты. Но и Лотта недовольна слепотою мужа. Так что и герой, и героиня дружно бранят Николаи, подложившего Вертеру пистолет с куриной кровью.

Как уже отмечалось, Гете был не склонен рассматривать поступок Вертера, как достойный подражания. В июле 1774 года, когда работа над книгой только что была завершена, Гете характеризовал своего героя «как молодого человека, одаренного чистым восприятием и пытливым умом». Однако далее эта характеристика критически уточнялась: «...он погружен в сумасбродные мечтания, силы его подорваны философствованием, и гибнет он вследствие нечистых страстей, главным образом безграничной любви, толкнувшей его на самоубийство».<sup>19</sup> В «Поэзии и правде» эта трактовка Вертера не только не из-

---

<sup>19</sup> Гете. Собр. соч.: В 13-ти т. Т. XII. С. 147.

менилась, но получила дальнейшее углубление. Нельзя отрицать, что Гете искренне сочувствует своему герою. Уважение заслуживает критичность взглядов Вертера, его близость к природе, простым людям. Но жизненная позиция Вертера, его пассивная реакция на невзгоды судьбы, попытка найти себя только в чувстве любви неприемлемы для Гете. Сущность авторской критической интерпретации Вертера с особой полнотой раскрывается при сопоставлении с трактовкой Геца фон Берлихингена. Как утверждает Гете, оба произведения связаны единством замысла. Автор стремится изобразить судьбу человека в контексте его эпохи: в одном случае — давней, героической, в другом — настоящей, заурядной. Гец — личность сильная, деятельная, жизнелюбивая. Вертер, напротив, человек слабый по натуре. Обстоятельства жизни легко парализуют его волю, позиция бездеятельного зрителя событий все больше усугубляет его отчаяние. Так, Вертер постепенно все больше отчуждается от окружающих, целиком погружается в свой внутренний мир. «Веселье других для такого угрюмца тяжкий укор, и то, что должно было бы отвлечь его от самого себя, напротив, сызнова загоняет его во внутренний мир».<sup>20</sup>

Мужественный характер Геца импонировал Гете, от вертеровского мизантропического наст-

---

<sup>20</sup> Гете И. В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 416.



роения он страстно хотел избавиться. Позиция меланхолического созерцателя по самому своему существу противоречила гетевскому принципу активного отношения к жизни. По замечанию В. Белинского «вертеровское настроение» было для Гете лишь «моментальным состоянием его духа». Вертером, «по собственному же его признанию, он и вышел из своего мучительного состояния. И вот истинная причина, почему чтение „Вертера“ производит на душу то же тяжкое, дисгармоническое впечатление, не услаждая, а только терзая ее».<sup>21</sup>

Интересна в связи с этим трактовка Гете самоубийства Вертера. Гете не разделял ортодоксального взгляда христианства на самоубийство как на неискупимый грех. Насилие над собственной жизнью допустимо, если оно вызвано катастрофой великого дела, без которого личность не мыслит своего существования. Когда у человека отнят смысл и содержание жизни, он вправе творить «пятый акт своей трагедии».<sup>22</sup> Это положение, которое Гете дает ссылаясь на Монтескье, в определенной степени созвучно финалам великих трагедий Шекспира.

Иной характер имело самоубийство Вертера. Здесь, напротив, человеку «надоело жить из-за отсутствия настоящего дела и преувеличенных требований к самому себе».<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1977. Т. 2. С. 179.

<sup>22</sup> Гете И. В. Из моей жизни. Повесть и правда. С. 421.

<sup>23</sup> Там же. С. 421.

В русле этого положения у Гете и происходила переоценка «вертеризма». Позиция пассивного созерцателя отменялась не столько прямо, в форме открытых критических рассуждений, сколько опосредованно, в самом процессе творчества. Н. Вильмонт, ссылаясь на незавершенные драматургические замыслы «Магомета», «Прометей», «Свадьбы Гансворста», а также «Прафауста», замечал, что «каждый из них знаменует попытку Гете вырваться из тупика вертеровской трагедии».<sup>24</sup>

«Свадьба Гансворста» — прямое пародийное преодоление идей вертеризма. В одном из фрагментов к незавершенному фарсу Гансворст, выступая в роли мужа Лотты, цинично издевается над бесплодными мечтаниями Вертера. Меланхолии и пассивной созерцательности здесь противопоставлено — пусть в вызывающе грубой форме — жизнестойкое народное начало. Замысел «Прометей» возник одновременно с замыслом романа «Страдания юного Вертера». Но если в работе над романом главными были пересмотр и отказ от вертеровских идей, то во фрагменте «Прометей» утверждались и новый герой, и новый взгляд на назначение человека в мире. «Прометей» несет на себе заметный след учения Спинозы. Пантеистическая идея, воплощенная во фрагменте, имеет действенный, творческий характер. Здесь высок

---

<sup>24</sup> Вильмонт Н. Гете. М., 1959. С. 113.

пафос деятельного познания сущности мира. Прометей — созидатель, творец, и это главное, что отличает его от Вертера. Именно это деятельное, творческое отношение к миру, что столь присуще и гетевскому Фаусту, и есть реальный выход из «вертеровской» трагедии...

Роман Гете очень быстро приобрел широкую известность в странах Западной Европы и России. Появились многочисленные переделки, подражания и продолжения истории Вертера. В Англии успех у читателей имели книги У. Джеймса «Письма Шарлотты во время знакомства с Вертером» (1781), Дж. Аркрайта «Письма Шарлотты к Каролине» (1781), «Вертер и Шарлотта» (1800) неизвестного автора, поэма А. Пикеринга «Страдания Вертера» (1788).

Во Франции история Вертера нашла обработку во множестве драматургических инсценировок. Одной из первых повествовательных вариаций на тему гетевского романа была книга Горжи «Сент-Альм» (1790). Правда, автор книги, проведя героя через цепь «вертеровских страданий», уберег его от самоубийства, завершив повествование счастливым финалом. Но в появившемся год спустя романе Жозефа Антуана Гурбийона «Стеллино, или Новый Вертер» (1791) вертеровская история предстает в своей законченности: молодой итальянец, чувствительный и ранимый, остро переживает трагедию своей любви и кончает жизнь, бросившись в пропасть. В том же 1791 году появился роман Пьера Перрена «Вер-

терия», в котором «вертеровским путем» уже назначено было пройти героине.<sup>25</sup>

Книга Гете находилась в походной библиотеке Наполеона, он перечитывал ее семь раз. Описывая свою встречу с прославленным полководцем (она состоялась в Эрфурте 2 октября 1808 года), Гете отметил, что именно Наполеон перевел их разговор на «Вертера», «которого он изучил досконально».<sup>26</sup> Не уставала восхищаться книгой и одна из самых ярых противниц Наполеона Жермена де Сталь. В декабре 1803 года она писала Гете: «Разве не перечитывала я сотню раз Вашего „Вертера“, разве не слился он для меня неразрывно со всеми впечатлениями бытия».

В русской периодической печати имя Вертера появилось раньше, чем имя его создателя. В «Прибавлениях к Санкт-Петербургским ведомостям» от 18 сентября 1780 года переводчик романа, сохраняя инкогнито, извещал или, скорее, предупреждал собратьев по перу: «Трудящимся в переводе книг с иностранных языков на российский сим объявляется, что книга „Die Leiden des jungen Werther“, т. е. „Страдания молодого Вертера“, уже переводится и отдана в печать».<sup>27</sup> Спустя пять месяцев книга увидела свет.

---

<sup>25</sup> См.: Дементьев Э. Г. Французская «вертериана» конца XVIII в. // Гетевские чтения. 1993. М., 1994. С. 34—50.

<sup>26</sup> Гете. Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1980. Т. IX. С. 437.

<sup>27</sup> Санкт-Петербургские ведомости, 1780, 18 сентября, № 75, приб., с. 941.

Однако ни автор романа, ни переводчик указаны не были. Впоследствии стало известно, что первым, кто познакомил русского читателя с романом Гете, был переводчик Академии наук Ф. Галченков.<sup>28</sup> Перевод этот был очень несовершенным.<sup>29</sup> Однако в последующие пятьдесят лет он оставался единственным русским переводом романа. С тем, правда, исключением, что в последующих изданиях в качестве лица, «исправившего перевод», называл себя И. Виноградов. Однако исправления были минимальными, ничего принципиально нового они не внесли в первоначальный текст. Печатался «Вертер» и с присовокуплением «Писем Шарлотты к Каролине, написанных во время знакомства с Вертером». Эта книга, рожденная в Англии, на русский была переведена с французского.

В те же годы трудился над переводом романа член «Дружеского литературного общества» Андрей Тургенев. Принимал участие в этой работе А. Ф. Мерзляков. Перевод этот не был опубликован, за исключением небольшого фрагмента — письма Вертера от 10 мая в переводе А. Тургенева.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Берков П. Н. К истории первоначального знакомства русского читателя с Гете // Гете. 1832—1932. Доклады, прочитанные на торжественных заседаниях в память Гете 26 и 30 марта 1932 г. Л., 1932. С. 98—107.

<sup>29</sup> См.: Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 35—40.

<sup>30</sup> Письмо к другу. Пер. с нем. Андрея Тургенева // Приятное и полезное препровождение времени. СПб., 1798. Ч. 19. С. 107—109.

В 1829 году появился перевод Н. М. Рожалина, достаточно близко передающий дух оригинала.<sup>31</sup> Сам переводчик по чертам своей природы напоминал героя романа и даже получил прозвание «московский Вертер».<sup>32</sup> Спустя тридцать лет появился новый русский перевод романа. Его автор А. Струговщиков посчитал нужным обратиться со специальным предисловием к читателям, опасаясь, что книга Гете могла бы показаться им несвоевременной. Защищая «Вертера», А. Струговщиков замечал: «Самые горячие поклонники реального направления не могут отрицать силы общих стимулов на пути прогресса, а таким-то стимулом богат Вертер».<sup>33</sup>

Уже в последние десятилетия XIX века появился перевод Анны Эйгес, а в XX веке — переводы И. Б. Мандельштама, Г. А. Рачинского и, наконец, Н. Касаткиной.

«Вертер» не только привлек внимание русских переводчиков, но и вызвал к жизни целый ряд оригинальных произведений в стихах и прозе, в которых воспроизводились основные мотивы романа, но в переложении на русские нравы. Это повести А. Клушина «Несчастный». М.-в. (1793),

---

<sup>31</sup> Страдания Вертера. С нем. пер. Р. Ч. 1—2. М., 1828—1829.

<sup>32</sup> Жирмунский В. М. Гете в русской литературе... С. 140.

<sup>33</sup> Вертер. Опыт монографии с переводом романа Гете «Страдания молодого Вертера» А. Струговщикова. СПб., 1865.

А. Столыпина «Отчаянная любовь. Отрывок» (1795), князя Д. Горчакова «Пламир и Раида. Российская повесть» (1796), П. Львова «Александр и Юлия. Истинно русская повесть» (1801). Особо должна быть отмечена книга М. В. Сушкова «Российский Вертер». Ее автор не только подражал роману Гете, но и повторил судьбу героя книги: завершив свою повесть, М. Сушков на семнадцатом году своей жизни совершил самоубийство. Издана его повесть была уже посмертно в 1801 году.

Последние десятилетия XVIII века и первые XIX века — время наивысшей популярности романа Гете в России. В середине XIX века многочисленные подражания роману Гете стали предметом пародий. Такими были повести «Страдания Санкт-Петербургского Вертера» (1847), «Самоубийство» (1848)...

Но пародийный Вертер — частный эпизод в истории романа Гете.

Трагическая судьба «мученика мятежного», как называл Вертера А. С. Пушкин, волнующе интересна и для читателя сегодняшнего дня. Роман Гете из ряда тех книг, которым жить вечно.

## ПРИМЕЧАНИЯ

**Стр. 9.** ...к этому источнику я прикован волшебными чарами, как Мелузина и ее сестры. — Мелузина — героиня французской сказки, возникшей предположительно во второй половине XIV века. Близкое сходство с фабулой этой сказки имеет немецкая сказка о рыцаре Петере фон Штауфенберге. Это рассказ о том, как рыцарь, встретив морскую фею, вступил с ней в тайную любовную связь. Рыцарь дал клятву возлюбленной никогда не сочетаться узами брака. Однако клятву нарушил, что и стало причиной его смерти.

Упоминание о Мелузине в письме Вертера — опосредованное отражение интереса самого Гете к этому сказочному образу. В автобиографическом повествовании «Поэзия и правда» содержится рассказ о том, как Гете еще в детстве сочинил на эту тему сказку. Спустя много лет Гете сообщил Шиллеру о своем желании продолжить работу над сказкой (письмо от 4 февраля 1797 г.). В 1817—1819 гг. в двух выпусках тюрингского «Дамского альманаха» Гете публикует сказку «Новая Мелузина». Затем эта сказка была включена в роман «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или отречающийся» (1829).

*И городские девушки приходят туда за водой — простое и нужное дело, царские дочери не гнушались им в старину... словно воочию вижу, как все они, наши праотцы, встречали и сватали себе жен у колодца и как вокруг источников и колодцев витали благодетельные духи. — Вторая фраза из письма Вертера отсылает к библейской истории, повествующей о том, как раб Авраам нашел «у источника воды» Ревекку, будущую жену Исаака (Книга Бытия, гл. 24). При этом*



нельзя исключить, что обе фразы — отдаленный отзвук из столь любимого Вертером Гомера: царская дочь Навсикая приезжает на берег моря, чтобы постирать там одежды, и неожиданно встречает Одиссея (Одиссея. Песнь 6).

**Стр. 17.** ...он отрекомендовался мне и щегольнул множеством познаний... об изучении античности. — Если предшествующее письмо свидетельствует о глубокой поэтичности Вертера, то данное письмо раскрывает его широкую эрудицию в области специальных знаний. Вертер называет таких ученых: Шарль Батте (1713—1780) — французский эстетик, видный представитель классицизма; Роберт Вуд (1716—1771) — шотландский археолог; Роже де Пиль (1635—1709) — французский искусствовед и художник; Иоганн Винкельман (1717—1768) — немецкий археолог, искусствовед, автор известного труда «История искусства древности»; Иоганн Зульцер (1720—1779) — немецко-швейцарский эстетик и философ; Христиан Гейне (1729—1812) — профессор классической филологии в Геттингене.

Многим казалось, что человеческая жизнь — только сон, меня тоже не покидает это чувство. — Не только первые строки этого письма, но и ряд последующих строк: «я живу, точно во сне», «взрослые не лучше детей ошупью бродят по земле и тоже не знают, откуда пришли и куда идут» по ассоциации отсылают к драме Кальдерона «Жизнь есть сон». Письмо это — предвестие трагической поры в жизни героя.

*Я теряю дар речи, Вильгельм...* — Здесь впервые называется адресат Вертера.

**Стр. 32.** ...радость и невзгоды какой-нибудь мисс Дженни. — Вероятнее всего, речь идет о романе «История мисс Дженни Гленфиль», принадлежащем перу французской писательницы Марии-Жанны Риккони. Роман этот в 1764 г. был переведен на немецкий язык и

пользовался большим успехом у читателей. Отдельные комментаторы высказывают предположение о том, что речь могла идти о романе малоизвестного немецкого писателя Гермеса «История мисс Фанни Волькес» (1766).

...меткие замечания о «Векфильдском священнике»... — «Векфильдский священник» (1766) — роман английского писателя Оливера Голдсмита (1728—1774). В романе с неподражаемым искусством воссоздается поэзия семейного очага, горести и радости маленьких людей. Гете очень высоко ценил этот роман. В «Поэзии и правде» он напишет: «„Векфильдский священник“ — один из лучших романов, когда-либо написанных. Это роман высоконравственный, в чистейшем смысле слова христианский; трактуя о торжестве доброй воли и стойкости в правом деле, он подтверждает необходимость уповать на Бога, заставляет верить в конечное торжество добра над злом — и все это без тени ханжества и педантизма» (Поэзия и правда. Ч. II. Кн. 10). Гердер читал этот роман Гете в ноябре 1770 года.

Стр. 38. «Клопшток!» Я сразу же вспомнил великолепную оду... — Фридрих Готлиб Клопшток (1724—1803) — немецкий поэт. Широкую известность в Германии приобрела его эпическая поэма «Мессиада», посвященная последним дням земной жизни Христа и событиям после его смерти. Как лирик Клопшток особенно ярко проявил себя в области оды. Выступая против рассудочной поэзии классицизма, Клопшток создавал стихи эмоциональные, пронизанные живым чувством. Неповторимы величественные картины природы в одах Клопштока. Одна из лучших од Клопштока, посвященных этой теме, «Праздник весны» (Frühlingsfeier, 1759). В оде поэт повествует о своих впечатлениях, вызванных грандиозным зрелищем весенней грозы. Не случайно, что имя Клопштока, которое произносит Лотта, Вертер сразу же взаимосвязывает с этой одой. Клопшток и его

ода как бы роднят Лотту и Вертера: у них единые поэтические вкусы, а это путь к единству их сердец.

**Стр. 41.** ...дерзкие женихи Пенелопы... — В счастливые дни жизни Вертера Гомер неразлучен с ним. Поэтому так часто у героя романа возникают ассоциации с поэмами древнего грека. В данном случае речь идет о том, как сватавшиеся к Пенелопе женихи пировали в доме ее мужа Одиссея.

**Стр. 42.** ...золотые слова Учителя: «Если не обратитесь и не будете как дети!» — Здесь Вертер цитирует слова из Нового Завета: «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (от Матфея, гл. 18, п. 3).

**Стр. 43.** ...о пользе Карлсбада... — Бывшее немецкое название популярного европейского курорта, ныне — Карловы Вары в Чехии.

**Стр. 45.** *Фредерика* — прототипом этого персонажа романа является, вероятно, дочь везенгеймского пастора Фредерика Бриона. В 1771 г. Гете пережил долгое, но сильное увлечение Фредерикой Брион. Чувства поэта нашли отражение в стихотворном цикле «Везенгеймские песни». Историю своей любви к Фредерике Брион Гете рассказал в 10—11-й книгах «Поэзии и правды».

**Стр. 47.** *Лафатер* — Иоганн Каспар Лафатер (1741—1801) — швейцарский пастор, проповедник, автор ряда произведений на библейские темы: роман «Понтий Пилат, или Маленькая Библия», драма «Абрахам и Исаак». Создатель теории «физиогномики», ныне отвергнутой наукой. Лафатер полагал, что по внешности — черты лица, форма головы — можно судить о характере, душевных свойствах человека. Молодой Гете был увлечен этими идеями и даже сделал несколько рисунков и написал ряд стихотворений к книге Лафатера «Физиогномические фрагменты» (1775—1778). Однако со временем отношение Гете к теории Лафатера

заметно изменилось и подверглось критике. В данном случае речь идет, вероятно, о проповеди Лафатера «Средство против недовольства и обычного настроения», находящейся во второй части «Проповеди о книге Иоанна».

**Стр. 52.** *Оссиан* — легендарный кельтский поэт, живший по преданию в III в. Во второй половине XVIII в. шотландский учитель Джеймс Макферсон (1736—1796), тщательно скрывший свое авторство, издает под именем Оссиана целый ряд лирико-эпических сказаний, написанных английской ритмизованной прозой. Макферсон выдавал эти произведения за переводы с древних стихотворных оригиналов. Песни Оссиана имели общеевропейский успех и в течение многих лет воспринимались как подлинные произведения средневекового барда. В Германии восторженным поклонником Оссиана был друг Гете — Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803) — философ, литератор, эстетик. Своим интересом к Оссиану Гердер увлек Гете, который перевел несколько песен Оссиана, приписав эти переводы Вертеру. В письме Вертера от 11 июля имя Оссиана появляется впервые. Вертер пока еще никак не выражает своего отношения к поэзии Оссиана. Однако по мере углубления трагической любви героя Оссиан будет занимать все большее место в жизни Вертера, вытесняя Гомера.

**Стр. 55.** *...бононский камень...* — Фосфоресцирующий шпат. Его нашли в 1602 г. в Италии близ Болоньи (древнее название Болоньи — Бонония) и называли Болонский, или бононский, камень. Во время своего итальянского путешествия Гете посетил разработки этой породы. Об этом он подробно рассказал в своем письме от 20 октября 1786 г. («Итальянское путешествие. От Феррары до Рима»).

**Стр. 70.** *...потом рассказал любимую их сказочку о принцессе, которой прислуживали руки.* — Очевид-

но, намек на сказку «Белая кошка» Марии Катерины Берневиле, в которой пленной принцессе подавали еду руки из потолка.

**Стр. 75.** ...маленький Гомер в ветштейновском издании... — Речь идет об издании в амстердамском издательстве И. Г. Ветштейна в 1707 г. карманного формата Гомера. Текст был издан на греческом и латинском языках. Гете здесь использует факт из своей жизни. 28 августа 1772 г. в день своего рождения он получил в подарок от Кестнера это издание И. Г. Ветштейна.

...эрнестовские фолианты. — Иоганн Август Эрнест (1707—1781) — профессор классической филологии в Лейпциге. В период 1759—1764 гг. им был издан пятитомник Гомера с параллельными текстами: греческим и латинским.

**Стр. 78.** ...власяница и вериги были бы блаженством для моей души. — Власяница — грубая, темного цвета ткань, изготовлявшаяся из козьей шерсти. Одежду в форме мешка из этой ткани носили в знак печали. Иногда власяницу опоясывали поясом из той же ткани. Вериги — разного рода железные оковы: кандалы, кольца и др. Носились на голом теле для смирения плотских желаний.

**Стр. 96.** ...коронационной поры Франца I... — Франц I (1708—1765). В 1745 г. коронован как император «Священной Римской Империи». Считается основателем Габсбургской—Лотарингской линии династии австрийских Габсбургов.

**Стр. 97.** ...великолепную песнь о том, как Улисс был гостем радушного свинопаса. — Речь идет о 13—14-й песнях «Одиссеи» Гомера, в которых содержится рассказ о том, как свинопас Эвней принял у себя явившегося под видом нищего Одиссея.

**Стр. 113.** ...сравнительные достоинства Кенникота, Землера и Михаэлиса. — Бенъямин Кенникот

(1718—1783) — английский богослов; Иоганн Соломон Землер (1725—1791) и Давид Михаэль Михаэлис (1717—1791) — немецкие богословы. Эти богословы отстаивали право свободного истолкования догматов, независимо от официальной церкви.

**Стр. 123.** ...потому начну читать поэта древности... — Речь идет об Оссиане, который пришел на смену Гомеру — другому «поэту древности». Еще раньше, в записи от 12 октября, Вертер признается: «Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера».

**Стр. 125.** «Вот если бы генеральные штаты заплатили мне...» — Генеральные штаты — высшее сословно-представительное учреждение в Нидерландах. Основаны в 1463 г.

**Стр. 147.** ...а платье зашить. — Было принято, отправляясь в путешествие, одежду, которую брали с собой, зашивать в защитную ткань.

**Стр. 150.** В ящике моего стола лежит ваш перевод песен Оссиана... — Речь идет о переводах Оссиана, выполненных Гете. В романе авторство переводов приписано Вертеру.

**Стр. 172.** ...чтобы священник и левит, благословясь, прошли мимо могильного камня, а самаритянин пролил над ним слезу. — Вертер в данном случае перефразирует слова о милосердном самарянине из Нового Завета (От Луки, гл. 10, 31—33). Самаряне (самаритяне) — народ, который селился в местности под названием Самария. Левит — так именовались все потомки Левия, третьего сына Иакова от Лии, они несли обязанности служителей Иерусалимского храма.

**Стр. 175.** ...на столе лежала раскрытой «Эмилия Галотти». — Трагедия «Эмилия Галотти» принадлежит перу крупнейшего немецкого писателя XVIII века Г. Е. Лессинга. Героиня трагедии Эмилия Галотти, защищая свою честь от посягательств герцога княжества, просит своего отца убить ее. Отец выполняет просьбу

дочери, таким способом выражая свой протест против произвола власти. Следует отметить, что Ф. И. Иерузалем, самоубийство которого явилось одним из жизненных фактов, творчески преобразенных в романе Гете, в последние часы своей жизни читал эту трагедию. На столе Иерузалема в день его кончины лежала раскрытой «Эмилия Галотти» Лессинга.

## СОДЕРЖАНИЕ

Страдания юного Вертера. (Перевод Н. Касаткиной)	5
--	---

### ДОПОЛНЕНИЯ

Из первых русских переводов и подражаний роману Гете «Страдания юного Вертера» . . . . .	179
Из книги «Страсти молодого Вертера». Перевод Ф. Галченкова. . . . .	179
Из книги «Страсти молодого Вертера». Перевод Ф. Галченкова, испр. И. Виноградовым . . . . .	184
Письмо к другу. Перевод А. Тургенева . . . . .	189
Из книги «Страдания Вертера». Перевод Н. М. Рожалина . . . . .	191
Из рассказа «Вечер на горе Могоя» . . . . .	195
Из рассказа князя Петра Шаликова «Весна» . . . . .	197
В. И. Туманский. Вертер к Шарлоте. (За час перед смертью) . . . . .	198
Библиография первых русских переводов романа Гете «Страдания юного Вертера» (XVIII—XIX века)	199

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Г. В. Стадников. Гете и его роман «Страдания юного Вертера» . . . . .	205
Примечания (сост. Г. В. Стадников) . . . . .	245



ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

СТРАДАНИЯ  
ЮНОГО ВЕРТЕРА

*Утверждено к печати  
редколлекцией  
серии «Литературные памятники»  
Российской академии наук*

Редактор издательства *Н. М. Пак*  
Художник *Л. А. Яценко*  
Технический редактор *Е. В. Траскевич*  
Корректоры *О. И. Буркова* и *Э. Г. Рабинович*  
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.

Подписано к печати 02.10.01.

Формат 70 × 90 1/32. Бумага офсетная.

Гарнитура академическая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 9.36. Уч.-изд. л. 9.4. Доп. тираж 1000 экз.

Тип. зак. № 4255. С 208

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1  
main@nauka.nw.ru

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ  
ГЕТЕ



СТРАДАНИЯ ЮНОГО  
ВЕРТЕРА

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

СТРАСТИ  
МОЛОДАГО  
ВЕРТЕРА.

ЧАСТЬ I.

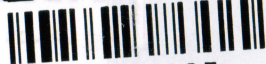
переведена съ Нѣмецкаго.



интернет-магазин  
ВЪ САНКТ. **OZON.ru**

178

и ждивен



40237365